

Тимофей Шерудило

ВРЕМЯ СУМЕРЕК

2021

18+

Тимофей Шерудило

Время сумерек

<https://litres.ru/74352294>

SelfPub; 2026

Аннотация

Основной предмет этих очерков: перемены в культуре, мировосприятии, морали, произошедшие со времени падения Старого мира (около 1918). Чем революция пыталась заполнить пустое пространство? Что от ее усилий осталось? Возможна ли культурная реставрация? Каково будущее господствующей религии Старого мира — христианства?

Содержание

Предисловие	5
I. Умственный труд второго рода	8
II. Внутренний человек	14
III. Полнота жизни	24
I	30
IX. Полупросвещение	48
X. Genius loci. Рождение святыни	53
XI. Речи Раскольникова	58
XII. Время сумерек	67
1	67
2	69
3	71
4	75
XIII. Надежда	80
XI	84
X	91
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Тимофей Шерудило

Время сумерек

Если вѣрно, что подорвана вѣками подготовленная, самобытно значительная, и глубинно цѣльная культура — это значитъ что предстоитъ періодъ разнбоя, упадка и потемнѣнія; что мы стоимъ передъ обрывомъ; новые свѣты нѣкогда возгорятся въ окутывающемъ мракѣ; новые космосы отстроятся въ должный — невѣдомый — часъ. Ихъ подготовятъ поколѣнія, о нихъ не думающія, устремленныя не на ихъ созиданіе, а на разрѣшеніе своихъ очередныхъ задачъ. Очередная задача въ происходящемъ и, вѣроятно, продолжающемся крушеніи — бережное цѣненіе уже достигнутаго при непрекращающемся стремленіи къ еще достижимому. Въ этомъ не только самоуваженіе и любовь къ своей уходящей жизни, признаніе ея глубинной самоцѣльности, въ этомъ не только вѣрность себѣ, — въ этомъ и заботливость о нѣкогда грядущемъ творчествѣ, какъ она единственно возможна до его наступленія. Въ этомъ единственная борьба съ распадомъ, возможная до появленія новыхъ завязей, новой творческой полноты.

Г. Ландау, «Сумерки Европы», 1923

Предисловие

Эта книга — о России «после христианства и прежде новой культуры». Разумеется, культура ушедшей эпохи (годом конца ее можно считать 1918-й) не исчерпывалась христианством, больше того, находилась с ним в состоянии борения и взаимодополнения. Христианство в «старом мире» было не единственным источником ценностей. В значительной степени этот мир основывался на языческой, греко-римской основе — которая к нам в Россию была перенесена Романовыми. XIX век вообще черпал свои ценности из разных, противоречащих один другому источников. Мышление наших дней видит в этом черту слабости, отсутствие единства, залог будущего разрушения. Мы вообще уверены, что если некоторая эпоха закончилась, то это «суд истории», в конечном счете — суд Божий. Однако противоречия — не трещины в здании, не мины под его основанием, а способ существования всякой культуры.

«Старый мир» прошел, но не «устарел». Все вопросы, какие ставили наши прадеды перед концом этого мира и вскоре после него — по-прежнему современны. Нить, которую пряла русская культура до 1920-го в «материковой» и до 1940-го — во «внешней» России, не истощилась, но была принудительно оборвана. Эту нить, эту линию наследования можно продолжить. Вопрос в том, какие формы может принять та-

кое продолжение; уместно ли тут желание реставрации; если да — то в какой степени; что живо по-прежнему, а что безвозвратно останется в прошлом.

В знак связи с той частью нашего русского «старого мира», которая не просто пережила, но и передумала революцию, т. е. Белой эмиграцией, я не раз приведу в этой книге суждения мало известных современному читателю авторов: Павла Муратова, Александра Салтыкова, князей Александра и Сергея Волконских.

Говорится в этой книге и о соблазнах новейшего времени: о социализме «третьего пола», о мнимом консерватизме современной России, ищущем почву в делах революции, то есть воплощенной беспочвенности, о возможной культуре и религиозности будущего, которая едва ли будет страдательной и основанной на надежде... Меньше всего здесь говорится о возвращении к внешним формам, будь то монархия или духовная жизнь, за исключением, пожалуй, одного неразрешенного и кровоточащего до сих пор вопроса русской культуры: вопроса правописания.

Упрощенная орфография навязана нашему языку силой. Видимость «приятя нового правописания» была создана средствами внелитературного принуждения. Зарубежная Россия печатала по-старому вплоть до 1970 гг.; «новая орфография» победила там только в силу естественной смены поколений — и цензурного давления западноевропейских властей. Цитаты из книг, напечатанных в России до принуди-

тельного введения «новой орфографии» или же на свободе, где эта орфография не имела силы, даются по старым правилам. Для своих очерков я, после некоторых колебаний, выбрал новое правописание. Традиционная орфография в наши дни — лучший способ отпугнуть приученного к упрощениям читателя; хотя и смешно мне, памятуя о содержании моих книг, бояться кого-либо «отпугнуть». 2021

I. Умственный труд второго рода

Умственный труд вызывается недоумением: в отношении себя, своего места в мире или самого мира; недоумением и беспокойством, если не прямо потерей умственного равновесия. Беспокойство, направленное внутрь, возбуждает интерес ко всему человеческому; направленное наружу — к устройству внешних вещей; и никогда или почти никогда не бывает интереса к тому и другому разом. Больше того. Сами вещи, на которые направляется деятельность ума, устроены как-то по-разному. Что хорошо с одними, то не подходит другим. Одни вещи можно «изучать», а другие только «понимать». Понимание вообще находится в каком-то странном отношении к изучению. Изучать можно, не понимая. Изучение сводит вещи, как они есть, к системам и схемам; зато и ценится нашей эпохой, ибо «научно». Понимание — не научно. Оно цельно, не разнимает предмет наблюдения на части, удобства ради, как это делает изучение, и предполагает тесные отношения понимающего с понимаемым. Понимание стоит не только «просиженных штанов», но и душевного труда, то есть (чтобы избежать смутного слова «душа») усилий всей личности, не какой-то одной ее части.

Здесь водораздел между наукой и пониманием, между «точными» и «глубокими» истинами. Глубокие — требуют всего человека, и не просто «производятся» умом, как са-

поги сапожником. Мысль, направленная вовнутрь, вырабатывается умом и одновременно сама его вырабатывает. Создание создает создателя. По этому признаку — способности обратного воздействия на создателя или ее отсутствию — можно было бы разделить умственный труд на два вида: труд, оставляющий работника безучастным, и труд, его меняющий.

Первый светел, ему учатся и учат; плоды второго могут быть светлы, но основания — в темноте. Предрасположенность к такому труду, способность находить доступ к темной глубине — скорее врожденные, чем воспитуемые. Здесь все лично и неповторимо, тогда как сила науки в безличности, заменяемости одного деятеля другим.

Умственный труд первого рода — подсчет и мера, истины статистики плюс немного воображения там, где речь идет о корнях и истоках, ни из какой статистики невыводимых. Умственный труд второго рода — алхимия, превращение тяжести в ясность, преобразование пишущего силой писания.

Оба вида умственного труда начинаются с недоумения. Дальше пути их расходятся. Изучающий идет к наблюдениям и оценке фактов; понимающий эти факты должен прежде всего пережить, наблюдать в себе самом — или, по меньшей мере, быть ими тесно затронут.

Без определенных условий такой вовлеченности нет, причем условий неблагоприятных. Понимающему требуется разрыв между умом и его средой; подспудное недовольство

существующим; желание прояснить непроясненное; постоянное беспокойство. Из этого нередко выводят, будто мыслитель (поэт, творец в широком смысле) должен быть несчастен, но нет. Беспокойство — внутри, прежде всякого внешнего счастья или несчастья. (Поэтому, кстати, материальное благополучие само по себе не гасит духа. Пушкин был, в бытовом смысле, несравненно благополучнее своих крестьян...) А еще — обособленность, своеобразие личности.

«Глубокие» истины могут с полным правом быть названы «личными». На самом деле, любой «факт» состоит, по меньшей мере, наполовину из личных оценок и истолкований; умственный труд первого рода, «научный» труд, точно так же работает с неразделимыми «фактопредставлениями» — не с первозданными данностями (о чем, правда, постоянно забывают — откуда забавная вера ученого в то, что он изучает не собственный ум, не представление этого ума о мире, а мироздание как таковое). Но в умственном труде второго рода своеобразие личности, ее понимания вещей еще важнее.

Чем меньше обособление личности, чем легче ей находить общий язык с другими — тем меньше ее беспокойство; тем безынтереснее ее писания. Спокойный писатель, спокойный мыслитель — противоречие в определении. Пошлость, поверхностность мышления обычно связана с холодностью. Поверхностные суждения — охлажденно-равнодушные. Сказанное со страстью редко бывает совсем плоско и

мимо. Чем глубже затронут ум, тем острее взгляд.

Да и с чисто литературной точки зрения, отсутствие напряжения, «разницы потенциалов» между писателем и средой, между писателем и читателем — разрушает литературу. Писатель, вполне подобный читателю — не нужен... Не нужен и писатель, состоящий в наилучших отношениях со своей средой. Человек, вполне и окончательно вписанный в общество, лишенный всех трудностей самоутверждения, общения, доверия, человек несложный во всех отношениях — литературу не создает.

«Обособленная личность», кроме прочего — та, что ценит себя, не говоря: «любит». Что значит: себя? В каком смысле: любит? Скажу так: без уверенности, что груз воспоминаний, ошибок, слабостей, неистраченной силы и потерянного времени, неотданной любви что-то значат; что это не просто «привходящие обстоятельства»; не что-то такое, что можно заглушить водкой, «работой» или внешними впечатлениями — нет потребности в том труде, который перепахивает саму личность, переворачивая ее пласты. Познание имеет смысл под условием ценности познаваемого.

При всех отличиях умственного труда первого и второго рода, у них есть общая черта. Ум хочет связать как можно больше вещей взаимонепротиворечивыми связями, неважно, смотрит он в себя или в мир, здесь его непреодолимое сладострастие.

Можно ли вообще говорить о сладострастии ума? Не при-

нижает ли это мышления? Не вижу ничего низменного. Говорим же мы о сладострастии чувства, видя силу и глубину впечатлений при неубывающей в них потребности. Сладострастие ума в неутолимой потребности производства и связывания понятий. Чувство и ум — оба ищут тесной вовлеченности, прядут паутину связей между собой и вещами; в дрожи этой паутины — наслаждение.

Побуждения познающего ума внеразумны. Зов познания, как и «зов пола», идет из области бессознательного. Его истоки можно проследить, с некоторым усилием, но противиться ему нельзя. Никто не может сказать: «Ищу познания, потому что так решил!» Не может и остановиться по желанию, как всякий, кем движет страсть. «Познание есть великая и опасная любовь». Любые «цели» в этой области — самооправдание разума; они придуманы задним числом. Яркий пример — поведение ученых-атеистов. Если все низачем — бессмысленно и познание. Однако и посреди мнимо бессмысленного мира сидит ученый. Почему? Потому что являющее беспокойство, то самое вожделение ума — сильнее, первичнее разумных доводов. Богатство жизни — от способности вожделеть; нет ненасытного алкания — нет полноты бытия; так во всем: в мысли, в чувстве...

При всех общих чертах умственного труда второго и первого рода — их судьба в наши дни различна. Умственный труд второго рода все более уступает первому. Разве же это плохо? Науку и «счастье всего человечества» еще недавно

связывали, да и сейчас многие связывают. Наука кормит и греет; «глубокие» истины никого еще не сделали богаче.... Да и творчество, занятое познанием человека, можно объявить просто болезненным признаком, вроде жара при гриппе. Чем личность здоровее (говорит наша заботливая эпоха), тем меньше у нее поводов к самопознанию, исправлению, поискам внутреннего света. В таком случае кошка поэта благополучней, чем сам поэт... Впрочем, не стоит преувеличивать «здоровье» личности, которую выращивает современность. Не столь высоко ее развитие, как ограничены потребности; не так она выросла, как научилась метить пониже...

Назрел, кроме того, вопрос: растет ли сумма счастья вместе с ростом материального благополучия, которому служит, по общему признанию, умственный труд, направленный на внешние вещи? Ответ известен: временно, до известного предела, пока богатство и спокойствие принимаются как благо, но не последняя цель. Затем Провидению делается безразлично, карать сытое или голодное человечество; богатых, пожалуй, оно бьет сильнее... Да и отказ от «глубоких» истин, при всей их практической «неприменимости», не проходит даром. Человека начинают «изучать», подобно какой-нибудь молекуле или туманности, а значит, окончательно перестают понимать.

II. Внутренний человек

О прошлом и настоящем распространено два мнения, и оба ложные: будто в прошлом не было зол, известных современности — и будто все зло осталось в прошлом. Последнее убеждение доходит до отождествления зла и истории (болезнь либерального ума). На деле прошлое и настоящее сотканы из одного материала; вопрос в соотношении частей. Другое заблуждение говорит: есть только одно прошлое, которое мы и должны принять. Это неверно. Прошлое, вопреки грамматической видимости, не имеет единственного числа. Прошедших много. Для живущих речь не о «приятии фактов», но о выборе наследства, линии преемственности. Прошлое передает настоящему (а настоящее — будущему) целый пучок таких линий. И кто беспокоится о своем будущем, должен правильно выбрать себе прошлое.

Одно из таких «множественных прошедших» — старый мир, прекративший бытие около 1917 года, а затем (по меньшей мере у нас, в России) искусственно вытравленный из памяти вместе со всеми его чертами, с правописания начиная¹. Образ его распался, хотя все (или почти все) составляющие

¹ Измененного без достаточных на то оснований и наиболее враждебным по отношению к внешнему образу и внутренней логике языка способом. См. статью одного из участников Орфографической комиссии, Н. К. Кульмана, «О русском правописании».

остались на месте. Судить о целом мы теперь можем только по отдельным уцелевшим частям, в основном книгам.

Ушедшая эпоха была в первую очередь эпохой книги, хотя (противоречие для современного взгляда) как писательство, так и чтение были доступны только образованному меньшинству. Книге, отношениям книги с человеческой личностью и самой этой личности «старый мир» придавал необыкновенное, не всем теперь понятное значение. Приглядимся к этому недавнему, но без следа ушедшему времени. Вернее, к его отношениям с человеком и книгой. Говорить я буду о «старом мире» вообще, но в первую очередь — на примере России.

Что, прежде всего, отличало «старый мир» от нового? Его обращенность вовнутрь, внимание к внутреннему человеку, выработанное христианством. Впоследствии революция вывернула мир наизнанку, сделав внешнее главным, а внутреннее — второстепенным.

Личность в том мире обладала значительно большей ценностью, чем теперь, причем не служебной (ценностью слуги, исполнителя, подчиненного, работника — будь он хоть академиком), а самостоятельной. В эти дни, к сожалению, самооценку личности, ее развитие — пустой набор слов. «Новый» мир знает личность «полезную» (государству или иному хозяину), «процветающую» материально (та же полезность, только позолоченная), но при этом ее содержание ни для кого не важно, в первую очередь для нее самой.

Пристальное внимание к внутренней жизни свойственно русской литературе в единственно великой и заслуживающей интереса ее части — созданной до конца старого мира и сразу же после него, в эмиграции. Эта литература насквозь психологична, занимается от начала и до конца личностью, человеком, а не «идеями», «государственными задачами» или развлечением читателя.

«Психологизм» литературы был отражением «психологизма» религии. Христианство учило внимательно относиться к своим душевным состояниям. Как религия, оно настолько же «о человеке», насколько «о Боге». Искусство художника — всегда отражение его религии, то есть основных представлений о мире и своем месте в нем.

А как же, может спросить современный читатель, произведения безрелигиозных творцов? Как я мог их обидеть?! Ведь отрицание всякой тайны, вера в то, что тонкой кожей видимой глазу поверхности мир и исчерпывается — в наше время привилегия, покушаться на которую опасно. На это скажу, что личная религиозность творца может быть близкой к нулю или отрицательной, как, скажем, у Чехова. Круг ценностей такого писателя все равно определяет атмосфера мира, в котором он вырос. Атмосфера была христианской; «внутренний человек», о котором писал апостол Павел, и его состояние были ее центром.

Сказанное не означает, что условия для творчества в старой России были какими-то необыкновенно благоприятны-

ми. Писателю везде трудно, даже в обществе, построенном вокруг Книги (всенародно знаемой Библии) и книгами (в своей просвещенной части) живущем. Но было в положении творца в старом мире одно коренное отличие.

Да, Пушкина, Гоголя, Достоевского освистывали, Данилевского, Леонтьева, Тихомирова не заметили. Мысль не умели ценить, кроме пресловутой «смелой и честной», то есть публицистики, и это неумение пережило революцию. Но была у творца (художника, мыслителя, поэта) могущественная защита: уважение не к умственному труду, а скорее, к внутреннему человеку, его жизни. Фундаментального права поэта, писателя заниматься важнейшими для внутреннего человека вопросами — не отрицали. Если Розанову трудно было напечатать свои «Листья», то из-за их, как казалось издателям, излишней интимности, смешения дневника с философией и публицистикой. По отношению к самим темам «Листьев» — несмотря на всю затронутость старого мира социализмом и либерализмом (верой во внешнее и только внешнее), — была большая терпимость.

Причем эту терпимость, что любопытно, никто не распространял насильственно. «Толерантность», которую насаждают на Руси сегодня, — догмат определенной секты, повод к разделению; в действительном смысле — «терпимость к „нам“ и ненависть к „ним“». В то время как терпимость на Западе — барское отношение к вещам, сумевшее проникнуть в народ, идущее не от какой-то отвлеченной идеи, а от

сознания своей силы и уважения, если не прямо одобрительного любопытства, к чужим чудачествам... Впрочем, мы говорили о другом.

Целая совокупность причин выработала в старом мире культуру, связанную, с одной стороны, с книгой, а с другой — с личностью. Я много раз писал о признаках этой культуры и ни разу не попытался дать общего определения. Попробую сделать это теперь.

«Культура» — в том смысле, о котором мы сейчас говорим, — есть совокупность средств сообщения своего внутреннего состояния другим, а также пространство, в котором это общение происходит. Звук и одновременно воздух, в котором раздаются звуки. Иначе говоря, культура — это язык, и к ней применимо правило: сложность выраженной некоторым языком мысли ограничена сложностью (выразительными возможностями) этого языка.

Более того: язык обратно влияет на мышление, из моря невоплощенных в слове помыслов вылавливая, воплощая только те, которые ум может выразить словесно. Форма определяет — не содержание речи, конечно, но пределы сложности, нижний и высший, для выражаемой в этой форме мысли. Речь не выразит мысли более сложной, чем позволяет выбранная форма; но и низведению мысли на первобытный уровень в духе «мама мыла раму, Маша любит кашу» выработанная форма также препятствует. Сложные формы заставляют мысль трудиться, но и дают ей крылья. Из этого,

кстати, прямое следствие: разрушая сложные формы выражения мысли, мы губим мысль.²

Итак, культура — язык для выражения внутреннего человека, причем формы культуры не просто внешность, они влияют и на содержание мысли и чувства, как язык обратно влияет на мышление. Язык не только называет вещи, но и описывает их взаимоотношения, устанавливает правила, по которым живет им описываемый мир. «Нет действия без деятеля», «нет явления без признака» — эти законы нам сообщает язык. Культура-язык говорит нам о законах нашей природы; вынимает человека из одиночества, помещает в закономерный ряд. Владеющий языком культуры не может видеть в себе и своих обстоятельствах пустую случайность. Только видя смысл в жизни, можно о ней плодотворно писать — и «читать самого себя», брошенного в обстоятельства этой жизни. По существу, понимание собственной ценности и способность к плодотворному культурному труду нераздельны.

Все это не отменяет вопроса: нужно ли людям это богатство выражения оттенков внутренней жизни, да и сама внут-

² Кн. С. Волконский совершенно верно говорил: «У насъ всегда твердили, что содержаніе важнѣе формы, и поэтому всякое воспитаніе формы почиталось ненужной роскошью, барствомъ и даже считалось вреднымъ. <...> Въ этой неспособности оцѣнить воспитательное значеніе *формы*, какъ опредѣляющей собою ясность, а потому и большую цѣнность содержанія, нужно искать причины той легкости, съ какою наши авторитеты научные пошли на измѣненіе правописанія»

ренная жизнь? С точки зрения «нового мира» — не нужно ни то, ни другое. Ракеты и плотины (избитый образ советского времени) или личное благосостояние (а это уже Запад или эпоха русской «свободы») нужнее. Но как показывает опыт, ракеты, плотины и житейские блага в конце концов оставляют великую пустоту в середине — там, где в старом мире была личность с ее внешней выправкой и внутренним содержанием...

Не всеми эта внутренняя пустота ощущается, а кто ее чувствует — пытается заглушить внешними приключениями. Цели «нового мира» (говоря о массах) — мальчишеские, цели подростка: стремление не к себе, но от себя, желание потеряться во внешних вещах, чтобы ничто не напоминало человеку о его внутренней загадке... Последнее побуждение, конечно, неосознанное. Ум и чувство просто хотят развлечений и тяготеют любой выправкой, любой твердой формой — чтобы их оценить, нужна зрелость.

А существующий мир, рядом со старым, выглядит миром детей. Неслучайна его «левизна» во всем; его уверенность в том, что всякие «реформы» благо, а «новое» лучше, чем «старое»; его погоня за новизной вместо добротности. Тяга вовне, прочь от себя, и утрата связи с прошлым — явления одного порядка. И наоборот, есть тонкая связь обращенности вовнутрь и укорененности в прошлом, «консерватизма». Самопознание и прошлое вообще тесно связаны. Обобщения, выводы, самоотождествление и самооценка связаны ис-

ключительно с событиями прошедшего. Прошлое — то, что придает смысл настоящему.

И мысль всегда «консервативна» — или ее нет. Где сосредоточенность на внутреннем человеке, где культура, там и внимание к прошлому как вечной почве для всего нового. «Правые» знают человека; «левые» знают идею, целый набор идей. Собственно, есть непрерывный ряд понятий: культура — знание человека — неспособность обольщаться «идеями». По меньшей мере, так было прежде...

Сказав это, надо сказать и то, что «старый мир» был миром многосоставным. Все составляющие «нового мира» в нем уже присутствовали, в том числе вера в исключительно внешнюю деятельность, интерес только к тому, что можно «изучать», а не «понимать» (социализм и наука). Основа его богатства — подвижное равновесие отрицающих друг друга начал. Ведь все великое (в области государственности, личности, творчества) основано на неразрешимых внутренних противоречиях. Отсюда бесплодность утопий. Утопическая мысль хочет уничтожения противоречий, сглаживания углов, выведения целого мира из одного корня, но одноосновное мировоззрение неплодотворно. Сложный, высокоорганизованный ум вырабатывается только сотрудничеством и борьбой нескольких систем ценностей, чьи владения разграничены, так что до открытого столкновения дело доходит редко...

Борьба этих начал разъедала старый мир изнутри. Сред-

невековые и социализм были двумя зорями на его небе, утренней и вечерней, и человек мог созерцать их одновременно без вреда для себя; наука казалась (но уже не была) чисто служебной силой без притязаний на место законодательницы мыслей и нравственности... Но соотношение частей в атмосфере изменилось, неустойчивое единство распалось.

Культура в понимании, высказанном выше, ушла как живая и действующая сила. В мире, созданном революцией, ее уход был мгновенным — целые поколения живых и одаренных людей были принуждены к молчанию или изгнаны. Потом революция примирилась с давними творцами культуры, от Пушкина до Достоевского, не снимая запрета с новейших — и по-прежнему подавляя всякое выражение внутреннего человека, все культурные формы, более сложные, чем стихи к государственным праздникам...

Надо честно признать: на революционные годы в России, с точки зрения национальной культуры — не смешивать с грамотностью, техникой и наукой, они с культурой в высказанном смысле связаны очень слабо, — можно смотреть как на потерянные. Потерянные, однако, не значит «напрасные». В конечном счете ничто не напрасно, все служит самопознанию — если есть желание признавать ошибки и учиться. Если же пересилит желание гордиться временами, о которых следовало бы задуматься — не будет ни опыта, ни самопознания, только дурное продолжение отнюдь не блестящих

лет...

Оглядимся вокруг. С одной стороны наука, которой человек не важен и неинтересен; с другой массы, которым как наука, так и (тем более) культура в сказанном смысле чужды. Идеал просвещения, то есть постепенного просветления и подъема масс до уровня высшего слоя, оставлен. Что будет? Вернутся ли сложные формы языка культуры? Не знаю. Знаю только, что самопонимание или хотя бы внимание к собственной личности, путь внутреннего роста и усложнения — это единственное, что можно человеку предложить, не боясь, что его постигнут пресыщение и скука. Не каждому это нужно. Но силами тонкого слоя тех, кому это нужно, движется развитие народа. Вернее, двигалось. И возможно, что еще будет.

III. Полнота жизни

Все, что мы делаем — делаем в поисках внутренней полноты, она же «счастье». Вопрос: «как быть счастливым?» почти равносильно другому вопросу: «как жить так, чтобы не думать?» От мысли — беспокойство, страхи, сожаления. «Мы сделаем их жизнь непрерывной игрой» — это обещание Платона жителям государства, управляемого философами, означает: «мы освободим их от потребности думать». Покой, лень — естественное состояние ума и чувства... Но не менее естественно (пусть и не для всех живущих) счастье движения, мысли.

Выходит, что счастье полного растворения в солнечном луче, полоске света, ползущей по стене, дуновении ветра, запахе далекого дыма — одна крайняя точка. Счастье зерна в жерновах, которому и страшно, и чудно, потому что и в жерновах не теряет своей особенности и мыслит — другая. Первое слаще; второе напитано чувством личного бессмертия. Двум видам счастья соответствуют и два вида религии; религия ведь возникает до мысли о Боге — при мысли о себе. Не «Бог есть», а «аз есмь» в ее основе. Чудо моего бытия, отношения мира с моим существом требуют объяснений. Если есть я — есть и кто-то на том конце телефонного провода, ведь меня слышат?..

В нашей части света внутреннюю полноту чаще ищут на

пути подвижности, предприимчивости, особенности, чем на пути растворения в мире. Нам лучше знакомы предшествующие всякой мысли избыток сил сверх необходимого; иррациональное беспокойство; которые, если есть выразительные средства, можно направить к высшим (творческим) целям. Если их нет — все может уйти в поиски любви, приключений, если не в пристрастие к вину...

Человеку даются даже не способности прежде всего, а этот огонек слепого беспокойства, который можно разжигать по-разному, плодотворней всего — в игре высших способностей. Искра бессознательного беспокойства воспламеняет эти способности, если найдёт; мир видит проявления дара, но не догадывается о причине его пробуждения.

А у истоков того, что зовется «даром» — чистая, неоформленная сила; избыток впечатлений, излишняя живость отклика. Свойства, не делающие человека «приятным во всех отношениях». Хотя не советовал бы от несносного характера — обратно заключать к одаренности. Несносный характер может быть признаком скрытых непримененных сил, а может и не быть.

Непримененные силы, беспокойство, несносный характер, переживания пола, вино — это еще не «гениальность», это то, из чего может сделаться гениальность³ при наличии средств выражения и тем. Гениальность — не внутреннее свойство творца. Она, как и любовь, находится между лично-

³ Т. е. уверенное, осознанное владение неповторимым внутренним космосом.

стью и чем-то внешним, в рассматриваемом случае — в месте встречи личности и культуры. Там атмосфера из инертной становится горючей, там зажигается пламя.

То же самое относится к мнимой связи дара и помешательства. Связаны не дар и помешательство, одно вообще не является причиной другого. Просто искра, зажигающая дар, может зажечь и безумие. Сами же по себе дар и помешательство противоположны, т. к. дар — высшая ступень порядка.

Воспитание налагает на эту силу сеть ограничений и правил. Из неразделенного, смутного делает тонко устроенное, сложное, самосознающее. Был бы только избыток способностей сверх необходимого. Этот отличающий человека от зверя (в котором нет ничего сверх потребности) избыток присутствует в нас всегда, вопрос в том, чтобы его зажечь и плодотворно ограничить, ввести человека в состояние противоречия с самим собой, вызвать его из природы — к духу.

Отсюда неожиданный вывод: все попытки дать личности покой, угашение внутренних противоречий, «спорт» и прочие развлечения, предлагаемые для «счастья» — способ заглушить человеческое (тот самый избыток способностей) в человеке. Там, где выросли развлечения, не вырастет высшая личность. Что это за личность? Та, что сознает себя; откликается на внешнее сразу на нескольких уровнях, сразу на нескольких регистрах, ощущает оттенки смыслов, а не простейшие раздражители.

Другой вопрос: нужно ли это высшее развитие? Может

ли, скажем, высокоразвитый человек быть подлецом? Нет сомнения, может. Хотя в списках особо опасных подлецов XX века высокоразвитых личностей не так много; разве что в списке жертв. Сложной личности доступен широкий круг положительных наслаждений, ей не нужны первобытные удовольствия, даваемые разрушением и травлей ближнего.

Кстати заметить: христианская вера и культурное богатство — явления не одного ряда. Они жили рядом, но ни причиной, ни следствием одно другому не были. С точки зрения Церкви, радости, наслаждения (положительного и отрицательного рода), полнота жизни — все под подозрением. Смешивая христианство и культуру, в особенности культуру в любимых нами формах, мы допускаем ошибку. К. С. Льюис — прекрасный собеседник, но в «Нарнии» и иных вещах показывает не «христианские ценности», а национальные, британские. Ум, юмор, милость к слабым — это не вполне от Евангелия. Это ценности богатого и сложного мира, который долгое время освещали лучи Евангелия — и в котором оно не было единственным источником света.

Хотя безусловно, в культуре старого мира христианство давало темы. Без него не было бы Ницше, который с христианством не столько боролся, сколько им питался; не было бы многих иных. Но питательно было именно историческое христианство, помещенное в мир, как одна из его сил, и при этом не единственная. Если его вычитать из книжек — благо-

чество (в известном кругу) будет, обряд (в известном кругу) будет, но Пушкина или Ницше, затронутых христианством, но не в его ограде выросших — не будет.

Все сложные культурные формы получают свое значение по совокупности причин и на протяжении времени. Все они историчны и неповторимы. Восстановление неких сложных форм (скажем, христианской монархии) не восстановит следствий, какие они имели прежде. В конечном счете, мы восстановим только слово, с другим совершенно значением. — Не хочу этим сказать, что «реставрация» нежелательна и невозможна. Напротив. Желательна и, может быть, еще возможна, хотя бы отчасти. Без нее не будет культуры — только техника. Но это будет реставрация основ, не сложных форм прежней жизни.

Мы ушли в сторону. Я говорил о том, что смешивать христианство и культуру — ошибка. Все порывы и достижения в мире, в том числе в области культуры — от способности безгранично желать, тогда как христианство разжигает огонь нежелания. Протестантизм — плохой пример, т. к. предельно далек от Евангелия и граничит (местами выходя за границу) с безбожием. Католический активизм также внехристианского (римского) происхождения. Евангелие громче всего велит не делать — как и сократовский демон, кстати. Чтобы обосновать делание, христианскому миру приходится обращаться к внешним источникам: римским добродетелям, учению о силе и успехе как земных тенях будущего спасения, к

рыцарству... Западный мир потому был был цветущ и богат, что приятным для глаза и плодотворным образом уклонялся от христианских основ. (Потому и прививка западности в России, сделанная Петром, оказалась такой могучей.) Возвращение этих и только этих основ старого мира, отдельно от прочих — им противоречащих, а иногда и прямо с ними несогласных — само по себе неплодотворно.

Девиз культуры: «Наложите на личность сеть сложных правил и создайте в ней разделение; дайте поприще, которое можно пройти». Основа любого порядка — способность желать, а не воздерживаться от желаний. Дайте личности достаточно целей и соблазнов, чтобы в погоне за первыми и в алкании вторых (неотделимом от борьбы с ними) она развила достаточные усилия. Не предлагайте ей монастырь без мысли о жизни вне его стен. Не предлагайте и погоню за внешним, не уравновешенную тягой к внутреннему. Дайте ей трудноразделимое единство, поле для приложения сил, и пусть трудится, ходя по всем путям, кроме пути меньшего сопротивления.

И путь ее не останется без награды: насыщенности и богатства жизни, внутренней полноты.

I

V

. Безошибочность или глубина?

Поскольку речь идет об утилитарной, повседневной науке — очевидно правило: такая наука легко обходится без умственного синтеза; без сложных суждений; напротив, находит силу в предельном упрощении предмета и в поиске простейшего и по возможности всеохватного набора правил, поведение этого предмета объясняющих. Научные «истины» — ряд последовательно опровергаемых ложных утверждений; наименее опровержимые в текущую минуту составляют «научную картину мира». Цель науки, следовательно — не глубина, а безошибочность суждений. А безошибочные по возможности суждения не могут основываться на обобщениях.

Выбор безошибочности вместо глубины оказался исключительно удачен. Как давно сказано: «сила науки в том, что она задает природе только те вопросы, на которые природа может ответить». Однако все вещи, о которых возможны «безошибочные» суждения, оказались маловажными с точки зрения коренных вопросов жизни. Все важнейшее для человеческой жизни питается (насколько еще живо) из вненаучных корней, в то время как вещи, о которых возможны точные, желательно количественные суждения — самые для

нее маловажные. Подсчитав, например, сколько бумаги в романе «Война и мир», изданном по классической орфографии, занимают твердые знаки, мы не приблизимся к пониманию смысла романа или значения конечного ера в русской письменности. Мы просто получим еще одно безошибочное суждение.

Здесь точка разрыва философии (мысли вообще) и науки: вопрос о смысле вещей. Суждения о смысле не могут быть общеобязательными. Общеобязательно может быть только утверждение об отсутствии смысла. С уходом смысла закончилось и самопознание («познавать» с точки зрения мысли — значит «искать смысл»).

Надо заметить и повторить: ученый (что бы он о себе ни говорил) не высшее существо; не победитель пережитков; не слуга мысли. Ученый есть человек, отказавшийся от самопознания ради безошибочных, то есть дающих власть над материей, суждений.

Только маловажные вопросы позволяют получить исчерпывающе точные ответы. Чем выше сложность познаваемого, тем эти ответы менее однозначны. Познание человека всегда будет неуверенным, зыбким; основанном на смутном понимании трудновыразимых законов — иначе говоря, никогда не будет «научным».

Наука и человеческое расходятся объективно, не по злой воле ученых; благими намерениями тут ничего не исправить. Наука не может, по своему существу, быть силой, а тем бо-

лее, единственной силой, определяющей развитие личности и общества; ее область применения — вопросы техники и гигиены, важные, но не важнейшие для тех, кто живет и рано или поздно собирается умереть.

Как говорит А. Ф. Лосев: историк должен «проследить каждый мифологический образ, начиная с его зародышевого состояния, переходя к его развитой и цветущей форме и кончая его разложением, внутренним опустошением и гибелью». Что верно для мифа, верно и для науки. Наука возникает в истории, подчиняется историческим законам и страдает, как все исторические явления, неполнотой и ограниченностью, находя себе дополнение и поправку в других явлениях. «Ненаучное» вненаучно, но не обязательно ложно.

Нежелание признавать что-либо за своими пределами, кстати — общее для умственных построений и их творцов. В своей исключительной воле к победе и жизни они подобны создателям. Все мощные умственные построения обладают жаждой бессмертия, унаследованной от творцов (даже если эти творцы не верят в вечную жизнь); защищаются, подобно живым существам; и видят себя вечными. Каждое человеческое построение ограничено; каждое желает исключительного торжества...

Признавая заслуги науки, признаем, что область ее применимости ограничена.

Все человеческое смутно, гадательно. Для выражения истин о человеке нужны богатые, нагруженные оттенками

смыслов, насыщенные внутренними связями средства выражения; наука может выражать свои истины избитым шаблонным языком, что она в современном мире и делает. Может, но не должна: ученый старого мира бывал хорошим стилистом, но отточенный стиль, как и культуру мысли, он получал из вненаучных источников. (Еще одна черта науки и мира, на который она наложила свой отпечаток: для простых мыслей нужны простые формы, а безошибочные суждения — всегда простые. Это не зависит от воли ученого, такова природа вещей, с которыми он имеет дело. Язык заранее заготовленных штампов, слов-калек и калек, взятых неразборчиво из других языков — прост в употреблении, но губит обобщающую способность, т. к. обобщениям простота претит⁴).

Безошибочные суждения, по существу своему, суть однозначные ответы на не имеющие двух толкований вопросы. В этом смысл научного метода. В этом и его расхождение с (называйте, как хотите) областью культуры, духа. Все человеческое — чем выше, тем дальше, — подразумевает неод-

⁴ Не случайно в 1918, под флагом «научности», в России было введено правописание, наиболее подходящее для того, кто не любит задумываться над значением письменного слова, хочет владения речью без понимания ее смысла. Внутренне-связная орфография предъявляет умственные требования, которые выглядят лишними с точки зрения чисто технической. Зачем задумываться над мыслью, строить в уме грамматически-правильное предложение прежде, чем выразить его на бумаге? А «классическое» правописание этого требует. Новый орфографический принцип мог быть полезен для скорописи, но письменное слово — погубил.

нозначность ответов, избыток смыслов.

С избытком смыслов научный метод не знает, что делать; его силе здесь нет применения. «Научное» толкование Достоевского не стоит бумаги, которая на него потрачена. В области духа науке остается только описательство: «Достоевский и социализм», «Достоевский и женский вопрос», «Достоевский и сексуальность». Темы бесчисленны и всегда не имеют отношения к Достоевскому-писателю и человеку. Суть человеческого в многозначности, многосвязности, глубине и свободе проявлений, от высших до низших. Искусство получения однозначных ответов на недвусмысленные вопросы изучению человека не помогает.

V

. Истоки религии

Что такое «личность»? Пол? Ум? Чувства? По обычному представлению — разум. Борьбу с разумом понимают, как борьбу с собой. Но вернее было бы сказать, что личность — не пол, не чувство, не ум, но внутренний порядок, для которого все способности — только слуги, орудия, строительный материал. Всем перечисленным он пользуется на свое усмотрение; владеет, а не одержим. Этот порядок человеку дороже всего остального в нем, его он хранит и защищает от покушений. Одна из опор этого внутреннего порядка — религия, но не в обычном смысле этого слова.

Обычно под религией понимают добровольное подчинение личности чему-то внешнему («иго Мое благо и бремя

Мое легко»). Европейец не умеет разделить религию от идеи личного Бога, от Церкви. Однако религия не имеет непосредственной связи с верой в личного Бога и чудесное; желая понять ее, начинать надо не с церковного христианства.

Что такое религия в самом общем смысле? — Переживание собственной ценности, укорененности в мире. Ее противоположность — чувство отрыва и уединения, собственной случайности.

У истоков религии два переживания, внутренне не связанные. Одно личное, а второе, так сказать, по доверенности, зато оно и доступнее. Первое религиозное чувство — ощущение собственной вечности; чувство внутренней полноты, граничащее с уверенностью в своем бессмертии⁵. Второе — чувство причастности к чему-то большему, чем личность; к некоей внешней по отношению к личности правде; переживание первичной Ценности, от которой заимствуют свет все остальные.

Эта первичная истина не обязана быть «потусторонней». Ее находят и по «эту» сторону. Ум верит, что может приобщиться к этой истине, должен хранить ее и нести «до края земли»; верит, что эта истина дает спасение. Формы этого спасения могут различаться: от жизни вечной до интеллек-

⁵ «Не там и не тогда, — говорит об этом чувстве Набоков, — не в этих косматых снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи — на мачте, на перевале, за рабочим столом... И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно».

туального самоуважения или отменного здоровья до конца жизни.

На деле, полоса религиозных переживаний широка: от полноты внутреннего бытия — до желания приобщиться к этому бытию; до страха так и остаться ненужным и уединенным... Здесь связь религии и культуры. Культура — всегда укорененность, обладание почвой; религия — самый глубокий корень. Обделенность полнотой жизни, страх оказаться случайным, а не необходимым — может привести как к яростному атеизму, так и к вере в обряд, смотря что возобладает. Обрядоверы и атеисты выпекаются из одного теста. При любом исходе, чувство выпадения из общего замысла о мире, оставленности, и в то же время негасимое желание приобщиться и служить истине — заставляют человека всякое здание перестраивать в храм.

(Кстати замечу: религия, самостояние личности, на ее путях достигаемое — внутренние потребности человека, но это не делает их достоянием чистой психологии. Любовь, скажем — тоже глубинная человеческая потребность, но утоляемая в общении с живой, независимой личностью.)

Даже материализм не исключает религиозных переживаний своего рода (связанных не с внутренней полнотой, но с приобщением к некоей внешней истине). «И въ наукѣ, и въ революціи есть какой-то „суррогатъ религіи“, — читаем у Розанова. — Есть прозелитизмъ, есть фанатизмъ. Уже есть бездна мучениковъ и героевъ... Видно, что каждая изъ этихъ

областей, или, точнѣе, каждый изъ этихъ методовъ (ибо и религія, и наука суть болѣе методы, чѣмъ области) можетъ совершенно насытить и удовлетворить человѣка, взять всю его жизнь, всю его душу. И въ равной мѣрѣ одушевить и двигнуть».

Розанов прав. Причастность к правде или хотя бы множеству, обладающему правдой — острая и сильная человеческая потребность, особенно если это множество гонимое или считающее себя гонимым. Изгнанные за правду блаженны, даже если их никто не гонит. Такова психология русской интеллигенции — вплоть до нынешнего последнего ее остатка. Чем святее множество, к которому приобщилась личность, тем меньше ее потребность в рассуждении.

Абсолютные ценности нуждаются в абсолютном доверии. Здесь корень научного и политического догматизма (по внешности внерелигиозного, тем более, что самые ярые догматики в науке или политике, как правило — враги религии во всех ее видах). Яростная, кипящая ненависть направляется на «неправильно мыслящих», т. к. они угрожают основам личной самооценки. Так апостолы «толерантности» нападают на инакомыслящих — назло своей вере, но в согласии с сердцем.

Впрочем, дать личности основу, внутренний порядок — способны обе разновидности религиозного чувства. Где нет ни той, ни другой — там слабость, беспочвенность, неукорененность в бытии, отчаяние и чувство своей случайности.

Однако плоды их разные. Полученное «по доверию» и теряется вместе с доверием. Тот внутренний порядок, который основан на незаемных, в самом человеке найденных ценностях — богаче, устойчивее, плодотворней.

V

I. О искусстве

Дело писателя (поэта, художника) кажется в наши дни предельно простым и понятным. Художественное творчество объясняют при помощи нескольких мифов — простых и простейших объяснений довольно сложных вещей. Несложные объяснения, как всегда бывает, пользуются успехом, но не помогают понять суть искусства, а только затемняют ее.

Самый распространенный миф: будто художник в своих трудах «выражает себя». Это «самовыражение» — общее место в представлениях о искусстве. Чем затейливее его ароматы, чем причудливее формы — тем оно совершеннее. О содержании источника пряных запахов неприлично и спрашивать... Всякое объективное значение искусства таким пониманием уничтожается.

Еще излюбленное мнение: будто искусство тем выше, чем больше запретов, нравственных или эстетических, оно нарушает; больше того — будто чем дальше «самовыражающаяся личность» от нормы, тем ближе она к гениальности.

Это взгляд внешний и поверхностный. В действительности мера художественного совершенства не здесь. художе-

ство может быть ярко, остро, приманчиво, увлекательно, но это все его внешние признаки. Внутренний корень искусства — понимание. Определенное понимание человека и мира отливается в определенные формы, но для творца эти формы второстепенны, публика же видит только их и укрепляется в заблуждении: «искусство есть совокупность внешних приемов», и чем пестрее и разнообразнее эти приемы, тем лучше для творчества.

Все не так. Не привлечение публики, а истина и глубина (на деле, сложное, до неразделимости цельное понятие) — цель искусства. Где верят в истину, там не радуются «многообразию мнений». Смешно представить «толерантную физику»: ученые рукоплещут «интеллектуальному разнообразию». Толерантная литература, в которой истину принесли в жертву «многообразию», тоже нелепа.

Искусство отлично от науки, но не во всем. Как и наука, оно упорядоченно, верит в наличие порядка в своем предмете (здесь: человеке), выбирает те средства, какие помогают этот порядок найти, а не затемнить. Цели искусства объективны, т. е. вне художника.

С верой в то, что художник занят «самовыражением», связано другое заблуждение: будто талант «межнационален». Этот «межнациональный», т. е. беспочвенный, талант сидит, будто бы, в пустоте и сам из себя порождает художественный космос... Картина величественная, но глупая; дарований космической величины не бывает; гениальность, когда она

есть, благодарно питается почвой своей национальной культуры, воздухом определенной эпохи в народной жизни (не обязательно теперешней).

Уничтожение культурной почвы (Россия им обязана революции; Запад — мировым войнам и последовательной демократизации⁶) означает упадок личной годности, т. к. не в человеческих силах ходить по воздуху. И напротив: где почва хоть насколько-то цела, есть надежда на рост личной годности, даже в неблагоприятной среде. (Под личной годностью понимаю здесь ответственность, способность суждения, внутреннюю сложность.)

Предвижу вопрос: зачем личности еще какая-то почва, не довольно ли воспитания, некоей «образованности», здравого смысла? К сожалению, нет. Почва есть, кроме прочего, запас понимания, склад накопленных сложных форм поведения и мысли, потому необходимый, что у отдельной личности нет ни времени, ни кругозора, ни опыта для того, чтобы к этому пониманию, этим формам придти самостоятельно. Почва нужна, чтобы не остаться в вечном детстве, постигая давно постигнутое; она сокращает время, нужное для приоб-

⁶ Влияние революции было демократическое, хоть революционеры и правили самовластно. Демократия враждебна сложности мыслей, отношений, внутренней жизни — как недоступной среднему человеку. Последствия демократизации разрушительны: целый слой понятий, умственных привычек, сложных форм мысли и слова уходит у личности из-под ног. Внутренняя жизнь упрощается до первобытных форм.... а жертвы этого опрошения уверены, что они во всех отношениях выше своих «темных» предков.

речения опыта, потому что складывается трудом поколений.

О другом мифе — будто достоинства произведения связаны с числом им нарушенных запретов — надо сказать: это подростковая болезнь вкуса. Корни ее глубоко: еще прежняя интеллигенция поклонялась «смелости и честности»; советская эпоха довершила дело. Глубокое, серьезное, тонкое было изгнано из культуры. Почти все темы прежнего искусства стали запретными. В старом мире как искусство, так и философия занимались отношениями личности с миром — от любовных переживаний до тайн познания. «Партия» оставила творцу разработку единственной темы: служения государству. Человеческое, личное, частное было терпимо только в виде примечания на полях.

Из запретности глубокого — по понятной, но непрости-тельной ошибке — был сделан противоестественный вывод о глубине запретного. Не без участия революции (пусть и отрицательного) создалось понимание искусства как области извращений.

На самом же деле в области искусства, как и в «точных» видах познания, ум располагают к себе глубокие и верные суждения. И в искусстве он ищет истин — не форм, не чувств, не развлечения как таковых. Не то произведение, которое только развлечет, а то, которое научит и заставит мыслить, ценит хоть сколько-то пробужденный ум. Повинюсь: сказав «истин», я выбрал неверное слово. Разум в искусстве ищет пищу: как для мысли, так и для воображения. Пи-

тательность, богатство, глубина — таинственно связаны с истиной, помимо воли автора и читателя.

Художество субъективно по своему происхождению, достигает ума и сердца также субъективно, по личной склонности, но объективно по своему содержанию: тем или иным истинам о человеке и жизни. Без желания учить и учиться, делиться и усваивать нет и художества. Художник не «творит» из ничего. Не «выражает» какие-то внутренние «тайности». Он видит и рассказывает об увиденном. Читатель, зритель — не просто с разинутым ртом созерцает каскад форм и красок, но соучаствует в творении (или убивает его своим равнодушием, неспособностью впустить в себя).

Распространенные же мифы о художестве удобны тем, что освобождают публику от внутреннего труда, да и художника из ответственного труженика превращают в зрителя кунсткамеры. Простота — обычная черта ложных объяснений.

V

II. Власть новизны

Жизнь сама по себе не событие, а только возможность событий. Сладость ее в переходе от возможного к действительному, иногда — в касании их границы. Второе, пожалуй, самое сладкое. Детство — время сплошного хождения по этой грани. Во взрослой жизни ощутить дуновение возможности позволяет искусство, но еще больше — всякая новизна, движение, дух перемены.

Сердцу важен именно переход от возможности к действительности. Сами по себе «достижения» пусты, они всегда в прошлом, тогда как сердце живет будущим, прошлое его не питает. (Не смешивать с «прошлым» как основой и почвой культуры — здесь твердыня прошлого охраняет настоящее для будущего.) Власть новизны, возможно, сильнее даже власти пола, а уж соединение этих сил почти непобедимо.

Впрочем, говоря о власти новизны над душой, не стоит забывать, что психолог не имеет права говорить о человеке вообще, но только об известном ему — чаще всего о самом себе. Единой «истины о человеке», возможно, и нет; есть ряд соперничающих истин, из которых ум выбирает свою — не по произволу, а по внутреннему сродству. Мы с трудом можем судить о «человеке», доступнее для понимания отдельные человеческие типы. Частное нередко принимается за целое, так и знание определенного типа иногда выдается за знание человека. Даже больше: целые эпохи представление о человеке строят из познания одного типа, пренебрегая остальными. Эпоха создается людьми определенного склада и их создает. Склад этот, сколько можно судить, врожденный, и благо тому, кто родился «вовремя». С этой оговоркой можно продолжить.

Новизна подобна свободе: отсутствие убивает, избыток душит. Ум сохнет без нового и тонет в его избытке. Новизну обещает революция, и народы идут за ней, хотя это «новое» всегда оказывается низшего качества в сравнении со «ста-

рым»... Новизне, в некотором роде, противостоит культура — как сила внутренней дисциплины, отбора, качественных оценок, — хотя и не препятствует входу нового в мир.

Почему новое так соблазнительно? Оно распускает старые связи, упраздняет вопросы, не разрешая их, позволяет забыться, возвращает на грань возможного и действительно-го — в общем, возвращает к детскому состоянию свободы, легкости и необусловленности.

Мы говорим «новизна», а имеем в виду движение; одно — кратчайший путь к другому. Личность бодрая, собранная, восприимчивая не может насытиться собственным содержанием, ей нужны движение, смена впечатлений, без них — внутренняя темнота и тоска. Подавленность — чувство ума, вынужденного довольствоваться самим собой.

Движение утоляет некий голод, но не само по себе. Есть и пустое, непитательное движение: «спорт», смысл которого — в освобождении ума от мыслей. «Мышечная радость» не питает личность; питает — радость ума от увеличения потока впечатлений. «Спорт» и развитие личности вообще как-то противоположны друг другу. Или мы получаем личность думающую и чувствующую, или «спортивную».

При всем сказанном, не всякая смена впечатлений бодрит. Новизна «войн и военных слухов», новизна болезни — не питательны; питает душу только переживание нового, свободного от страдания и страха потерь...

III. Душа и форма

Выше мы говорили, что человеку при рождении даются не «способности» к чему-то определенному, но нерасчлененные силы, некое иррациональное беспокойство. Их проявление мы и называем «даром». Чтобы «дар» состоялся, нужна встреча этого беспокойства с внешней формой. В форме, однако, нуждается не только талант, но и сама душа. Воспитание (в широком смысле — культура) выводит ее из состояния неразделенного единства, предшествующего мысли, чувству и слову.

Человек — не «чистая доска», на которой пишется все, что угодно воспитующему. Душа приходит в мир не пустой. Она не форма, ждущая себе содержания, но содержание в поисках своей формы. Изначально ее содержание не имеет средств выражения и известно только себе самому. Не все помнят свое раннее детство. Фрейд вообще говорит о «забвении детства», как общем правиле. Эта погрешность памяти позволяет в личности ребенка видеть пустую коробку, ждущую наполнения. На самом деле все содержание сложно-расчлененной «взрослой» внутренней жизни уже есть у ребенка — в виде неразделенном, слитном, скорее как вопрос, чем как ответ.

Если «познание — припоминание», то развитие — постепенное узнавание себя, не в одном каком-то образе, но во множестве разрозненных отражений. Отражения эти даются

культурой. Душа подходит к культуре, как к зеркалу, находя в ней облагороженный и усложненный образ себя. Соединение души и культуры — личность.

При всем сказанном — форма не самодостаточна. Личность — дитя формы, но в любом случае питается силами души. «Форма» не упраздняет «душу», а направляет ее силы узкими путями.

Чувство и мысль в первую очередь воспитываются книгами. Среди наших воспитателей больше отсутствующих, чем близких. (Я, кстати, не зря упомянул о «чувстве». Чувствовать тоже надо учиться. За каждым чувством стоит переживание его смысла. Развитую личность отличает внимание к смыслу во всем, и в ее чувствах также.)

Одна из радостей, доставляемых чтением — узнавать о себе, своих мыслях и побуждениях в побочном ответвлении мысли, в мелком замечании. Самые «питательные» для ума авторы — у кого таких боковых мыслей много. Беллетристика не философия; но все значительные произведения не без мудрости (если понимать под мудростью истины о человеке и жизни). Проза Набокова, почти лишенная мыслей («вкусная, но бессодержательная», по выражению протопресвитера Шмемана) — скорее исключение в русской литературе.

При всем подавляюще важном, исключительном влиянии культуры надо подчеркнуть: форма не принудительна; она не подчиняет, а влюбляет в себя душу, и влюбление это происходит по внутреннему сродству. В культурных формах

мы находим себя самих, только в очищенном, проясненном, сложно-разделенном виде.

Наш внутренний город строится внешней культурой. Но что останется от моего внутреннего мира, если отнять воспоминания, влияния, формы? Останется то, что находится под его поверхностью, к чему обращаются искусство и красота, из чего исходит вдохновение. Первоначальное детское восприятие вещей; ощущения бесстрашного и любопытного комочка света, которому предстоит теплая, не грозящая, но таинственно-мирная темнота; ядро личности, живущее еще до разделения слова и чувства; одним словом — душа.

IX. Полупросвещение

В прежние времена просвещение уединяло человека, возводя его на некоторую высоту. Сегодня можно иметь все печати и свидетельства просвещенности и при этом быть частью толпы, пусть и ученой толпы. В чем дело? Мысль потеряла силу, или общий уровень так высок, что подняться выше него — невозможно? Все может быть, конечно. Возможно и то, что просвещение сменилось чем-то качественно иным; чем-то, что можно назвать, вслед за Пушкиным, «полупросвещением» или (чтобы никого не обидеть) «образованностью».

«Образованность» дается под условием службы, производства известного количества «умственных работ» в урочное время, а когда же ум трудился по расписанию? Важные мысли производятся глубокой внутренней потребностью, не желанием одобрения или служебной надобностью. Культура не фабрика, умственный труд — не производство.

Если просвещение — цельно, воспитывает личность, то образованность заполняет ум фактами, но не учит с ними обращаться. Образованность сообщает полезные знания; просвещение учит одинокой, безвыгодной мысли, переживанию внутреннего смысла предмета. Хуже того. Знание принимается «образованными» религиозно, цельно и без сомнений, как новая истина, не как нечто такое, что можно и отверг-

нута, если умственная совесть не позволит.

Прежде мысль была радостью и привилегией меньшинства. Теперь мысль, бывшая некогда штучным товаром, выделяется в промышленных масштабах. Размахом производства мы обязаны готовым шаблонам. Больше того, «мысль» в разрешенном, одобренном сегодня виде имеет право только на несколько внешних форм, предельно безличных. Всякий намек на личность изгоняется как признак «необъективности». Объективно же то, что с умом и совестью пишущего никак не связано — по возможности, разбор количественных зависимостей, своего рода магия чисел.

Продолжая сравнение образованности и просвещения, надо сказать: просвещение неспешно в оценках; образованность торопится заявить несогласие. Она имеет мнение обо всем, не думав ни о чем. Большей частью эти «мнения» сводятся к отвержению всего, что нарушает умственный уют.

Образованный скользит по поверхности вещей, и это скольжение не признак глупости. Он умен — в том смысле, в каком умны звери, т. е. умеет находить кратчайший путь. В области мысли это значит — вытаскивать из ящика готовые карточки; пользоваться усвоенными мнениями, а не вырабатывать их. Образованность любит говорить: «всем известно, что...» За ссылкой на «всех» стоит умственная лень, нежелание проверить общие места своей мыслью. А кроме лени — боязнь оказаться одному. Мы начали разговор с того, что пробуждение ума возводит (или возводило) его на некото-

рую высоту. Это так. Не только поэта ждет пушкинское «живи один».

Труд мысли всегда одинокий; нельзя мыслить с кем-то вместе. (Только большевики придумали «коллективный разум Коммунистической партии» — но то было коллективное безмыслие). Умение быть одному, то есть с самим собой — одно из самых трудных. Жить с самим собой, в умственном отношении, означает умение оспорить, направить, изучить собственные мысли. Такое умение дает независимость от «общих мнений», п. ч. воспитанный ум уже не видит в них «истин».

Больше того. Не только ум надо приучить к самостоятельности и возможному одиночеству. Одна из целей воспитания в целом — ввести в мир личность, которой никогда (по возможности) не будет скучно с главным, а подчас и единственным собеседником — нашим внутренним человеком. Условия успеха здесь: неленивый ум и пробужденное чувство, и все это вместе с готовностью быть особым, отдельным от других, нерастворенным ни в какой «массе». «Просвещение» — только частный случай воспитания.

Кстати сказать: должно ли воспитание «готовить к исполнению обязанностей» и прочему в таком роде? Нет. В идеале оно должно отвечать на простой вопрос: «Как быть человеком и что с собой делать?» На простых примерах, не сообщая глубоких истин о причинах и целях (причины и цели, при желании, личность будет искать сама). Дайте только че-

ловеку представление о его дарованиях, возможностях, средствах, необходимых усилиях — сначала в малом, — вместе с чувством собственной ценности. Без этого личность потеряет дорогу, не успев на нее выйти, в лучшем случае — прибьется к какому-то людскому множеству, чтобы «быть как все». Сложную личность не воспитать без прививки уважения к себе. Без готовности ценить себя и свое, защищать внутренние ценности от посягательств — ничего не будет. «Чай, не баре!» — самое скверное, что люди могут о себе думать.

Где нет сложной, самостоятельной, чтящей себя личности — нет и сложной, развитой, выразительной речи; без такой речи нет гуманитарного знания, не говоря уже о мудрости, которая вся вырастает из умения правильно выражать мысли.

За речью стоит душа. Просвещение требует выработанной личности. Личность нуждается в независимости и умственном самостоянии. Знак выработанной личности — сложный, выразительно-мудрый язык. Помыслить себе сложно-разветвленную умственную жизнь без языка трудно, поэтому «выработать речь» означает в то же время «выработать личность», и напротив, механизация речи, сведение ее к повторяемым однообразным оборотам говорят об упрощении внутренней жизни, о потере самостоятельности ума. Путь к плодотворной сложности идет через личное развитие и уединение. Не только поэту, повторю это снова, сказано пушкин-

ское «Ты царь: живи один».

X. Genius loci. Рождение святыни

Может быть, еще подлежит сомнению, действительно ли озера и холмы более способны воспитать поэта, чем темные улицы огромной столицы.

Томас Маколей

Руководящее мировоззрение наших дней имеет в основе веру в механизм. Механически понимаются человек, жизнь... Непредсказуемость, свобода из такого мировоззрения почти изъяты. Саму ткань человеческих отношений (в основе иррациональную) хотят заменить набором «разумно обоснованных» правил... Цель, собственно говоря, не новая. Этой целью задавалась недавно (по историческим меркам) русская революция; теперь ее поставил «передовой Запад».

Трудность в том, что вселенной безразлично, как ее понимают, а вот жизнь и человеческая природа механистическому пониманию противятся, и побороть их сопротивление можно только запугиванием. Жизнь течет по своему извилистому руслу и, сколько ее ни спрямляй, упрямо заворачивает в сторону. Выпрямить ее пути можно только насилием: угрозой, доносом, террором. Жизнь хочет быть неразумной, это ее наибольшее желание.

В отличие от нее человек хочет разумности во всем, больше всего на свете боится потерять разум и личность, и несмотря на это — непрестанно ищет выхода за их пределы.

Ведь что значит испытывать «полноту жизни»? Как можно чаще или постоянно выходить из пределов себя, своего постылого «я». Путешествия, любовь, творческий дар, винный дурман — все ради этой цели. Мы знаем «про себя», но не готовы сказать вслух, что путь большей разумности есть путь меньшей одушевленности. Более разумное — менее живое, полнокровное, творчески способное, идет ли речь об обществе или человеке.

Как будто личность дана нам как средство приобрести некий странный капитал, не ради себя самой... Этот капитал приобретается не усилиями разума, но и не «чувством», в смысле раздражения, радости, усталости или довольства. Ценность внеразумного исключительно велика, хотя оно и отбрасывается в наши дни как безразличное или прямо больное.

За пределами чистой мысли — значит, по ведомству психологии, если не психиатрии. По общему согласию, человек есть «разум плюс все остальное». Здесь жизнь и мстит упростиителям, т. к. важнейшие источники или, скажем, побудители нашего поведения лежат в области «всего остального».

Поговорим об одном довольно редком, но много дающем «душе» и малозначительном для «разума» переживании: одушевлении внешнего мира. Кто долго был один, знает, какую странную живость, окрашенность чувством обретают улицы городов, по которым мы ходим, не желая возвращаться в пустой дом. Внешний мир приобретает, при извест-

ных обстоятельствах, черты личности, с которой мы связаны некими отношениями; иногда даже любовными (что подтверждают многочисленные свидетельства мистиков).

С точки зрения психологии — это проявление беспокойства, отражение подспудного напряжения ума и чувства. Ради спокойствия это переживание необходимо рационализировать, обезвредить, если не убить. Но кроме спокойствия есть и другие ценности, например, смысл. Смыслы, значения вещей не содержатся в них изначально, но прикрепляются к ним путем переживания. Там, где психология добросовестно делает свое дело — их не будет. Будет спокойная, размеренная, совершенно бессмысленная жизнь. Хороша ли такая цель?

Я говорю не об отказе от разумного скепсиса. Добросовестный мистицизм, боюсь, в наши дни уже невозможен. Мы не можем верить своим ощущениям; мы можем верить лишь в то, что за ними стоит нечто большее, чем электрохимические процессы. Сама по себе «таинственность» недорого стоит...

Итак, мы говорили о том, что некоторые духовные сущности создаются из материала наших страстей и нашей тоски — а возможно, нуждаются в известном напряжении всех сил личности, чтобы быть испытанными. Чем напряженнее и острее взгляд, тем больше смысла растворено в том, что он видит.

Музыка и тени, шелест капель, отчужденно-прекрасные

здания, неутоленная и потому пронизывающая всю ткань бытия смутная, ни на что особенно не направленная любовь... В минуты отчаяния или радости или сладко-неразделимого, но пронзительного чувства, в котором есть что-то от обоих; когда душа и мир образуют осмысленное напряженное единство; когда содержание ума и чувства нераздельно — из них рождается *genius loci*, дух места или, во всяком случае, его живое касание — корень религии.

Всякая большая религия вырастает из таких разрозненных и частных ощущений; храмы, обряды, «сила и слава» — все это приходит потом. Религиозен не тот, кто всегда эти ощущения испытывает (это было бы непосильно), но тот, кто об этих мгновениях всеосмысленности, всеоставленности — не забывает.

Наши «священные урочища и дубы», если б религии возникали сегодня, были бы на улицах городов. Здесь наша душа налагает свой отпечаток на мир и испытывает обжигающее с ним единство. Кстати: не только любовь, вообще «теплое и светлое», дает это ощущение всеединства. Ужас, оставленность, понимание непоправимости — также.

Наши предки умели запоминать и ценить такие ощущения; нам они кажутся внутренними, частными переживаниями. Мы настолько забыли, как обращаться со своей душой; настолько забыли, как быть религиозными (если речь не идет об уже «готовых» разновидностях культа) — что не узнаем религиозное ощущение, даже встретив его. Дело не только

в работе машины принудительного обезбоживания (оно же расчеловечивание). Дело еще и в силе привычки. «Религия» для нас, как для того лесковского героя, «в церкви»; внутренние переживания кажутся чем-то малозначительным...

Однако у многих из нас, наверное, есть такие памятные места, священные мостовые — где соприкасалось внутреннее и внешнее, явилось личное откровение; где с нами говорил (как подумали и сказали бы древние) дух места.

XI. Речи Раскольникова

Некоторые говорят, что XIX век был веком лицемерия, то есть подавления сокровенных желаний. То же самое можно выразить иначе: XIX век был временем наибольшего порядка в душевной жизни; той самой выправки души, о которой говорилось выше. Что же до «лицемерия», то это оценка нравственная, то есть не по существу. Вопрос в другом: чем этот век платил за упорядоченность душевной жизни, за выправку, за всё, чему жгуче завидует человек XX и XXI столетий? Ответ находим у Достоевского. По ту сторону всех высоких и сложных форм жизни — выведенные в его романах Подпольный человек и Раскольников, оба — ущемленные этой выправкой, царствующим в мире нравственным порядком.

«Отчего такъ бывало, — плачется Подпольный человек, — что, какъ нарочно, в тѣ самыя, да, в тѣ же самыя минуты, въ которыя я наиболѣе способенъ былъ сознавать всѣ тонкости „всего прекраснаго и высокаго“, какъ говорили у насъ когда-то, мнѣ случалось уже не сознавать, а дѣлать такія неприглядныя дѣянья, такіе, которыя... ну да, однимъ словомъ, которыя хоть и всѣ, пожалуй, дѣлають, но которыя, какъ нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболѣе сознавалъ, что ихъ совсѣмъ бы не надо дѣлать?»

Это ведь не к тому сказано, что Подпольный человек (а на

самом деле — его создатель) был человек «низкий». Видят в этом и нравственную раздвоенность Достоевского, что к истине ближе, но всё равно мимо. Раздвоение вносится в личность христианской моралью. Не Десятью заповедями, как мог бы подумать читатель, но нигде ясно не выраженным, но основательно усвоенном в христианском мире запретом желать для себя, стремиться к личным целям; верой в то, что достойные цели — только ненужные личности, предельно далекие от ее радости и благополучия; необходимостью проносить радость и полноту жизни контрабандой, прикрывая их теми или иными высокими целями. Подпольный человек (и Федор Михайлович) в разных местах, иногда и не очень хороших, свою радость искали, но сказанного выше это не отменяет.

О Раскольникове обычно думают, что он хотел переступить через совесть, и поставил свой опыт, чтобы узнать: вынесет душа «сверхчеловечество» или не вынесет? Но раскольниковский вопрос можно поставить и проще: «Наполеону дано право желать для себя, и он действует ради этих желаний. Могу ли я, Родион Романович Раскольников, желать для себя?»

Родион ведь от мамок и нянек еще слышал, что «желать» вообще грешно, а для себя в особенности; а потом узнал, что «желают» все, но не говорят об этом, потому что приемлемы для общественного мнения только желания ради отвлеченных, чуждых личности целей. Наполеон же не тем удивите-

лен, что

*«Двуногихъ тварей миллионы
Ему орудіе одно»,*

но тем, что смело желает своего и для себя.

Раскольников мог бы сказать: известная нам «мораль» сводится к требованию: «ты не должен ничего хотеть для себя» и по сути является школой воспитания неудачников, т. е. обделенных способностью желать. Неудачники утешаются тем, что точка приложения их усилий — где-то за пределами жизненного успеха, вообще той жизни, которую хотелось бы прожить.

Это настроение — благоприобретенное, не врожденное. Душа ребенка наивна и хочет жизни; потом приходит ум, получивший прививку «нравственности», и учит, что полнота жизни как цель — или безнравственна, или недостойна; что жизнь нужно пропустить мимо себя, а самому направиться к идеальным целям: служению ближним или идеям — к чему-то такому, что сулит награду только в ином мире или вообще никогда.

Быть «нравственным» человеком в этом смысле значит быть надломленным, т. к. всякое желание для себя с точки зрения христианской морали — незаконно. Основная ее черта — первенство «я должен» перед «я хочу». Однако для человека естественно, желательно и полезно хотеть. Подавляя

желания для себя, не «облагороженные» безвыгодными целями, эта мораль вырабатывает или человека раздвоенной воли, или хищника, или святого, который от всего своего отказался, но больше всего, естественно — первых.

Розанов верно говорил, что «нравственность» в большинстве случаев есть неспособность желать. И наоборот: человек настолько сомнителен с точки зрения общепринятой нравственности, насколько сильны его желания. И даже у Чехова (человека, как кажется, слабых желаний) однажды прорвалось: «нравственно не делать того, чего не делают старцы». Подмечено верно.

Как тут не подумать, — сказал бы Раскольников, — что пока человек не поймет, что «можно» вообще всё (за немногочисленными исключениями); пока не освободится от вопросов «хорошо ли то, чего я хочу?», «можно ли мне этого хотеть?», «заслуживаю ли я?» — он будет двигаться мимо жизни. Умение хотеть требует отказа от нравственных оценок, от боязни выглядеть «эгоистом», «желающим для себя». Кого учили «желать для других», тот живет призрачной жизнью...

Закрывая законные пути, — продолжил бы он, — мы поощряем развитие двух типов: слабого, отступающего перед запретами, и не скажу «сильного», но — пролазу, наглеца, который сначала солжет, потому получит-таки свое, но уже через ложь и цинизм.

Остановим Родиона Романовича и спросим: а как же Ста-

рый мир, в котором сильные личности попадались совсем не так редко, как в Новом, и способность желать всё-таки не всегда уводила личность в «подполье»? Ведь старый мир был, как современному наблюдателю кажется, насквозь христианским, а естественным выводом из последовательно примененного христианства должна быть всеобщая неспособность желать ради себя самого, в то время как жить идеальными целями способны не все, да жизнь и не требует постоянно и исключительно преследовать идеальные цели.⁷

На самом деле, способность желать в старом мире не оставалась без упражнения; ей были отданы целые области жизни, «скрытые» от взгляда господствующей морали (т. е. морали «нежелания» или «желания ради внешних целей»).

«У влюбленных есть тайна от этики», замечает Киркегор. Человек не терял способности желать для себя — в любви, на поприще честолюбия — и эти желания составляли тело жизни, да и основное содержание литературы. Вся беллетристика старого мира посвящена внеэтическому поведению личности, т. е. страстям, стремлениям, поискам удачи и счастья — всему тому, что христианская мораль не может благословить.

⁷ Если бы не общепринятая мораль, высоко ценящая отказ от собственных желаний и служение «дальним целям» — интеллигенцией не был бы принят и большевизм, который от всяких желаний «для себя» Россию освободил. Во всяком случае, «людей ума и чернил» революция соблазнила именно этим. Пока топор не опускался на очередную шею, мерцающий свет нового нравственного порядка манил носимую этой шеей голову...

«Съ христiанской точки зрѣнія невозможна акція, усиліе, прыжокъ, игра въ сферѣ ли искусства, или литературы, или смѣха, гордости и проч.», говорилъ объ этомъ Розановъ. Не потому, что оно какъ-то особенно враждебно труду и усиліямъ (напротивъ); но потому, что оно обращается къ внутреннему человеку и отворачивается отъ внешнего міра съ его достиженіями; отказывается одобрить любое усиліе, направленное на внешніе цели.

Почему такъ? Потому что христіанство — религія потрясенной души; въ атмосферѣ катастрофъ христіанинъ чувствуетъ себя дома, тутъ вѣра его даетъ крылья. Обычная жизнь, требующая любви къ солнцу и теплу, для него половинчата, смыслъ ея неясенъ, оправданія ей нѣтъ (несмотря на все попытки такое оправданіе найти).

И въ мирное время христіанство питаетъ душу, но центръ тяжести его въ другомъ мѣстѣ. Христіанство — религія личности, сорванной со своихъ основъ, сколько ни возводи уютныхъ пристроекъ къ изначальному зданію. Домъ христіанина въ Апокалипсисѣ, къ которому онъ и возвращается при первой возможности. Апокалипсисъ придаетъ завершенность и смыслъ его мировоззренію... Пылъ, напримеръ, русскаго раскола — пылъ души, которая отъ сонно-мирнаго и въ общемъ-то ненужнаго бытія перешла къ огненной, но питательной и до конца ясной обстановкѣ конца свѣта. Прошло бесплодное ожиданіе, началась жизнь!

Христіанство — мироотречно. Мироотречность его — отъ

обиды на мир, в котором всё дается или временно, или под условием. Как не обидеться на двусмысленные дары и недоброго дарителя? Обидевшись, не отказаться от всех его приманок? Возможен, однако, и другой взгляд: духовная жизнь, и вообще жизнь, — приключение, а не покой, и было бы неблагоприятно отказываться от возможности это приключение пережить...

Но вернемся к Родиону Романовичу и его речам. «Старый мир» был всё же богат и велик — не потому ли, что «морален»? Напротив, — ответит Родион. Естественным препятствием на пути выработки слабой, готовой к подчинению личности (дело, которое впоследствии так удалось большевикам, в своем роде насаждавшим ту же мораль «отвлеченных целей»), были кипевшие в прежнем обществе страсти, унаследованные из внеморальных (вернее, внехристианских) источников.

Плодотворная, богатая жизнь обогащается парадоксальными истинами христианства, но не питается ими исключительно. Христианство хорошо там, где свет его падает косо, а не прямо. Говорить: «христианская культура породила Пушкина и Чайковского» — неправильно. Будь они вполне и только христианами, их гениальности было бы нечем питаться.

Чтобы жить под солнцем — любить, желать, жалеть, стремиться, — нужно быть чем-то еще, кроме «доброго христианина». А уж тем более, чтобы жить творчеством. В действи-

тельности Пушкина и Чайковского породила богатая и сложная культура, основанная на принуждении внутреннего человека, строгой выправке личности, высших формах внутреннего порядка — со всеми подспудными напряжениями и подпольными бунтами, свойственными этим формам.

Целые области жизни в Старом мире, как я уже говорил, или прямо наследовали язычеству (искусства, военное дело, государственное строительство⁸), или питались могучими мирскими желаниями (брак), — несмотря на выхолащивающее влияние морали. Церковь была островом, на котором личность могла отдохнуть от житейских стремлений, но сила этого острова была в ограниченности его размеров.

Трудно, — признался бы Раскольников, — оценить значение христианства для личности, потому что оно дает душе иго — и одновременно динамит для его разрушения. Его жизнь — в движении от устойчивости к разрушению и назад. В одном только христианство постоянно: в отвращении ко всем вещам, которых можно достичь. Оно для тех дней, когда сделать ничего уже нельзя; для минут, когда жизнь остановилась...

Уединенному сердцу есть что вычитать в Нагорной проповеди, но всякое желание полноты жизни по определению неблагоприятно христианством. Весь мир «страстей», достижимых целей, горения ума и чувства находился в преж-

⁸ Не зря А. В. Карташев говорит: величие Петра в том, что тот привил России римское (языческое, замечу от себя) начало.

ние времена вне церковного понимания жизни — и эту жизнь питал; и сам, в свою очередь, питался звонким напряжением между долгом (христианской дисциплиной души, «нельзя» вместо «хочу») и требованиями жизни (пламенем страстей в самом широком смысле, от честолюбия до эротических устремлений). Это напряжение (о чем писал еще Ницше) и придает неповторимую остроту культуре Старого мира (последних веков христианской эпохи).

В войне 1914 — 1918 этот мир сгорел. От европейца больше не требуют каждодневного напряжения сил в борьбе с самим собой; свободу он оплатил творческим даром. На очереди — или растворение личности в море бесконечной (то есть неспособной к формообразованию) свободы; или подчинение новому бременю (следующему «единственно-верному мировоззрению» светского или религиозного толка); или (самое трудное и маловероятное) поиск пока не найденного сочетания высшего развития и полноты жизни.

XII. Время сумерек

1

Наше время относится к христианской эпохе, как вечерние сумерки к дню. Христианство уходит за горизонт; надо судить о нем, пока оно не скрылось совсем. Мы достаточно рядом, чтобы чувствовать его теплоту и величие; мы достаточно далеки, чтобы понимать, что христианство не синоним религии, но только одно из возможных пониманий жизни и божественного.

Некоторым нравится думать, будто эти сумерки — последние. «Войны и военные слухи» пугают, вера в скорый конец успокаивает умы. Даже больше: христианину необходим Апокалипсис. История, не имеющая огненного конца, кажется ему бессмысленной. Однако история — не отмеренный по линейке отрезок. Она больше похожа на совокупность отрезков, вписанных в круг. Отрезки — отдельные культуры; круг — общечеловеческие способности во всей их полноте. Каждая из культур развивает человеческую природу в своем направлении до доступного ей предела. Совокупность таких путей образует всеобщую историю. Все они когда-то прерываются, но концы их — события не мировой истории, а частной.

Окончание одного из культурных путей — не конец мира. В измененных обстоятельствах останутся неизменными основные вопросы ума и души, из них же главный: почему со мной, моим народом происходят именно эти события? «Точное знание» с прохладцей отвечает: «По случайности». Это объяснение не питательно для ума и неудовлетворительно для души, а потому никогда не будет принято. Следовательно, развитие продолжится, пусть и на новой почве.

Однако переход к новому не будет легким. Культура отличается от первобытной простоты избытком дополнительных значений, присоединенных к каждому слову (образу, действию). Этот избыток нельзя приобрести по желанию: он вырастает естественно, с ходом — не лет, но смыслов. Нельзя «создать культуру», т. к. по сути это значило бы «создать себе прошлое». Пршлое можно только выбрать, присоединиться к некоторой традиции. Отсюда культурная бесплодность революций.

Из невозможности «создать» культуру не следует, будто новых культур не бывает. Бывают. Но «новыми» они становятся только по прошествии времени, для взгляда из будущего. Для наблюдателя-современника есть лишь поступательное накопление ценностей с прибавлением не бывшего прежде, причем доля этого «не бывшего» постепенно растет. Культурно это означает неизбежную постепенность творения нового; политически — бесплодие всякого активизма, могущего создать только идеологию, но не культуру.

Христианство казалось вечным, как всякий установленный революцией «новый порядок». Казалось и естественным, и безусловно подходящим для всякого человека, более того — всеобщим, пригодным для всего человечества. Сейчас мы видим то, чего не видели прежде.

В истории борются за преобладание не только «классы и массы», но и психологические типы. Христианское мировосприятие в своей основе, его поэзия и философия — также выражают определенный тип. В слова: «*Anima naturaliter Christiana est*» можно внести поправку: некоторые души. Христианство соответствует определенному душевному складу, но его нельзя надеть, как платье, на всякую душу. Как многие другие вещи, оно не для всех, а для некоторых.

Какой это склад — можно догадаться, глядя на великую, тонко-психологическую, глубоко христианскую в своей душевной зоркости литературу XIX века. Христианство психологично потому, что это религия отступления в себя. Личность заколачивает окна и двери, и в тихой горнице ищет знаки присутствия души — с той же страстью, с какой современность ищет признаки внеземной жизни, но с большим успехом.

Психологичность — награда уму, который отказался от

любопытства по отношению к миру. Сосредотачивая внимание на узкой полосе душевной жизни, связанной с ощущениями вины или страха (т. е. области детских переживаний по преимуществу), христианство делается чутко до ясновидения.

Розанов говорит: «От сладости слов Иисусовых прогорк мир». Это красивое описание, но не объяснение. Объяснение — в том, что Евангелие обращается к ребенку в человеке, пробуждает дитя и принуждает к молчанию взрослого. Потому так притягательны его тихие речи. В Евангелии не случайно постоянно повторяются слова: «умаление», «дитя», «малые сии». Это не образы, а прямое и откровенное описание психической практики.

Сильнейшей стороной уходящей эпохи, основой всей постройки была вера в единую истину. Сперва это представление вошло в философию, затем проложило себе путь в религию⁹. Неудивительно: наши религиозные представления диктуются мировоззрением. «Философия жизни», определенное понимание вещей — предшествует религии и определяет если не просьбы, с которыми мы идем к богам, то область возможного и невозможного для наших прошений. Что еще более важно: оно определяет то, что мы получаем по этим молитвам (т. к. «по вере вашей дается вам»).

Итак, вначале была уверенность в единой, обязательной для всех истине. Вера в единую истину связалась с идеей единственного Бога. Стали возможны вопросы «по Достоев-

⁹ Что же касается монотеизма в строгом смысле этого слова, то он является философской концепцией, разработанной греческими философами классической эпохи. Его усвоение традиционной религией происходило посредством осмысления младших божеств пантеона как особой категории существ — «ангелов», природа которых не божественна (ранее младшие божества назывались «ангелами» лишь в силу исполнения ими обязанностей посланцев или вестников старшего бога). Христианство пережило такое осмысление уже на раннем этапе, в силу своего распространения в греческой среде. В иудаизм же оно стало проникать лишь с VIII в. н. э. через арамейско-арабское христианско-исламское посредничество. По этой причине, вопреки общепринятому мнению, иудаизм стал монотеистическим не первым, а последним из «мировых религий». — С. Петров. *Вот бы твои, Израиль. Языческая религия евреев*.

скому»: «Если нет Бога, то всё дозволено»; «если нет Бога, то какой же я, к черту, капитан»? Может показаться странным, но Достоевский вписан (или возможность его вписана) в монотеизм изначально. Если истина одна, то других нет вовсе. Его вопросы не атеизмом продиктованы, а чувством отчаяния человека, который понял, что от материка Единой Истины отчалить можно только в никуда, в пустоту.

Истинное «единство» мысли, веры и чувства было бы губительно (что показал опыт XX века). В действительности, единство христианского мира было далеко от совершенства. Зачатки местных, национальных пониманий божественного вспыхивали тут и там под именем «ересей». Целые народы или семьи народов уходили от вселенской веры к «домашней» религии. Не слабость была виновата в расколах, но требования жизни.

Народ, желающий самобытного развития, собственных потерь, но и собственных приобретений, может и должен понимать божественное по-своему. Все великое в культуре национально, и создается в меру особенности этого понимания. Нельзя одновременно развивать все способности человеческой природы. То, какие стороны будут развиты в этом народе, этой культуре, определяется их религией. Здесь действует закон обратной связи: люди получают по своим молитвам, а просят о том, чему, по их вере, благоволит божество.

О Достоевском говорят: националист и узко-православен. «Почему „русские“, а не человечество; почему „правосла-

вие“, а не христианство?» — спрашивает у него Шестов. Это неправильная точка отсчета. Когда Достоевский говорит, что «Бог есть соборная душа народа», он глубоко религиозен, только религиозность это не христианская, а старшая — «языческая». Здесь нужно прояснить смысл слова. Язычеством в христианском мире называют нечто «отсталое», «доморощенное», «низкое» по сравнению с идеалом вселенской церкви.

Однако разграничительная линия не здесь. Качественные оценки (в зависимости от приближения к единственно-разрешенной истине) в культуре неуместны. Язычество противоположно христианству не в области нравственности, а в пространстве: как местное, национальное, особое понимание истины. Христианство же предлагает одну истину для всех. Единство без принуждения не достигается. Когда Данилевский говорит, что западная цивилизация насильственна по своей сути, он не договаривает: насилие предполагается самой мыслью о единственно-исключительной истине.

Последствия применения этой единой истины вначале были величественны, потом ужасны. Христианство вошло в мир, полный скрытого смысла, а оставляет его обесмысленным, потому что весь капитал вложило в идею Единого Бога, единой истины, которых надо проповедать до края земли и отвержение которых значит и отвержение всякого разума в мироздании.

То же самое можно высказать более приземленно. Евро-

пейско-христианская цивилизация распространила свое понимание жизни по всей земле. Это понимание состарилось и ветшает. У Европы больше нет ни духовной власти, ни материальных сил, чтобы его защитить — а миру-то нужно жить дальше, пусть и без Европы и ее истин.

Итак, изначальная особенность христианства, источник его основной силы: вера в то, что об одном предмете существует не более одной истины. Принцип мощный, всеразрушающий. «Последняя истина» ревнива, нетерпима. Уходя, она оставляет по себе чистый лист. Нигилизм — естественная ступень в ее развитии. Отсюда бесплодность нынешнего мира.

Откуда уходит христианство, там устанавливается «мерзость запустения». Ничто сильное, самодостаточное, способное к независимому существованию не приходит на его место; все послехристианские силы живут исключительно отрицанием тех или других частей христианского наследства.

В жизни ума и чувства сегодня господствует реакция против христианства. Или чистый нигилизм, смертопоклонство: «ничего нет, кроме видимой глазу материи и отмечаемой приборами силы, и всё бессмысленно»; или наскоро перекованные из христианских запретов противоположности (например, отход от христианского гнушения плотью — понятый как соблазнение масс оптом и в розницу).

Нигилизму противостоят незаконные дети уходящей веры: идеология и «единственно-верные мировоззрения» разных сортов. В них проявляется желание сопричастности к единой истине, к группе «правильно верующих». Тоталь-

ность христианского мировоззрения унаследована «точным знанием», здесь снова «едино стадо и единъ пастырь». Атеистически-религиозное, непримиримое, властное «научное мировоззрение» есть, по существу, последняя христианская ересь.

Чем это знание «точнее» (ближе к мировым основам), тем более оно недоказуемо; чем более недоказуемо, тем более требовательно. Ему свойственны хорошо знакомые нам по прошедшей эпохе догматичность, жажда власти над духом, вера в одну и только одну истину (за редкими блестящими исключениями).

Формы мысли вообще долговечнее, чем ее содержание. Воинствующее безбожие (а под маской «точного знания» скрывается именно оно) сохранило все формы христианского мышления, вывернув содержание наизнанку.

Это естественный ход вещей. Отвергая прошлое, реакция не строит собственной лестницы ценностей; она только меняет знаки у ценностей уже существующих. Формы любой реакции предопределены формами явления, которое она отрицает. Способность к самостоятельному формообразованию ей не дана. Это нельзя забывать, глядя на антихристианское движение наших дней. Эпоха-наследница безобразна в меру односторонности эпохи-предшественницы.

Послехристианский мир не просто «искажен». Он кривится, поводит плечами, желая выправить прежние искажения, но необходимой полноты развития, зрелости для при-

дания себе новой выправки не имеет. От той же неспособности к формообразованию страдает и освобожденная от большевизма Россия, при всем различии явлений.

Революция, разрыв со старым миром всегда создают пустоту на месте прежних смыслов. Желание заполнить это пустое место создает «идеологию». Дать человеку чувство причастности к чему-то большему, чем он сам; дать ему чувство праведности (потребность христианских народов, неутолимая после ухода христианства); дать ему смысл поступков более высокий, чем простая целесообразность...

Можно считать правилом: утратив христианство, народы принимаются за построение утопии, т. е. принудительно упорядочивающего мысли и мнения общества, связанного одной идеей, своего рода (прошу прощения за варварское слово) идеократии. Первыми по этому пути прошли русские и немцы; англосаксы в свое время, в силу особенностей развития, не заметили конца христианства и ступили на путь строительства идейно-обусловленной утопии только сейчас. Идеология, «единственно-верное учение», несогласные с которым принуждаются к молчанию, есть главный признак такого общества. «Моя ценность определяется тем, сколько человек я заставил замолчать», так думали бы строители очередного Прекрасного Нового Мира (социалистического, национал-социалистического, либерального), если бы имели привычку думать.

Другая пережившая свой век форма мысли — вера в ско-

рый «конец света», по грехам человеческим или без всякой причины (здесь современная мысль двоится; одна «школа» утверждает, что нас покарает планета Земля за причиненные ей страдания; другой нравится верить в камень с небес, или смертоносное поветрие, или истребительную войну). Я говорю: «вера», потому что убеждение в скором и непременном конце совершенно иррационально, не вытекает ни из каких данных науки. Это вопрос оценок, а не знания фактов.

Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали этот разговор. Вера в конец света, в особенности — скорый, парадоксальным образом успокаивает человека, придает смысл истории и собственной его жизни, а заодно и освобождает от беспокойства, ведь худшее вот-вот случится. У того, кто собирается жить, беспокойства гораздо больше...

Так современный человек (сколько бы ни утверждал обратное) не может освободиться от ценностей предыдущей эпохи. Он или отрицает христианство, ставя на место каждой прежней ценности — противоположную, или держится за основные формы, идеи, отказавшись от их сердцевины: от веры в божественное и жизнь вечную. Следующие идеи оказались жизнеспособнее, чем христианство, и до сих пор мерцают в наступившей умственной темноте: личная праведность (причастность высшей истине в деле и мысли); конец света, понимаемый не как угасание, но как насильственное окончание истории, последний суд; единственно-верное учение, требующее искоренения ересей. И основа основ: ве-

ра в единственную возможную истину об одном предмете.

Человек, не верующий в скорый и неизбежный конец мирового порядка, находится в выгодном положении, но лишь отчасти. Понимание того, что занавес не опустится окончательно, не освобождает от опасений за ближайшее будущее. Можно только предполагать (а иногда пытаться предсказывать), какими путями пойдет мысль, уйдя из привычного русла. Едва ли она так и останется на мелководье. Одно точно: восстановления старого не будет. Мы можем положить старые камни в основание здания новой культуры, но что разрушено, то уже не выстроить. Это признание развязывает нам руки и освобождает от ненужных мечтаний.

XIII. Надежда

Непрожитая еще часть жизни — тайное сокровище каждого. Нет человека, который был бы к нему безразличен. Наиболее распространенное отношение к собственному будущему есть надежда.

Способность надеяться есть, иными словами, способность поступать вопреки здравому смыслу. Надеющийся видит будущность там, где ее нет; находит воздух там, где для крыльев нет опоры; ожидает света глубокой ночью. Огорчения в настоящем его не смущают: будущее заплатит по всем счетам.

Его поступки можно расценивать по-разному. С точки зрения разума, в надежде проявляется или глупость, или безумие, или молодость... Чувство молодости — не только ощущение новизны и неизвестности, но еще и дремлющей силы, для которой всякая тропа — желанное поприще, всякое препятствие — радостное испытание. Молодость стоит наедине с сильным и радостным зверем своей души, и блажен тот, кого дыхание этого зверя не оставляет со временем...

Молодость покидает нас, но надежда остается. Она предполагает, что причинность не всевластна: власть ее подтачивает свобода, то есть удача или, в конечном счете, судьба (судьба или боги: надежда возможна в обоих случаях). При

добросовестной, крепкой вере в причинность — надеяться не на что.

Надежда, как мы уже сказали, проявляется в пренебрежении настоящим ради будущего. При любых обстоятельствах надеющийся верит, что итог еще не подведен, последние карты не выложены. Личность, способная надеяться, обладает лучшей выправкой, лучше владеет собой, вернее защищена от внутренней темноты, чем не знающая надежды.

Христианство вменило душевную бодрость, надежду — в обязанность. Однако философия надежды обоюдоострая. Удерживая душу от погружения в темноту, она переносит внутренний центр тяжести в будущее, делая настоящее более или менее неважным. Кто переносит все положительные ожидания в будущее — тот полностью обесценивает настоящее.

Говоря о надежде как обязанности, мы сталкиваемся с необычной ее стороной. «Я надеюсь» означает обычно: «я не буду об этом думать» или даже: «я не стану для этого ничего делать». Но надеяться приходится и на маловероятное, совсем невероятное, но необходимое. Надежда сверх всякого вероятия — не легкомысленное откладывание вопроса на завтра, но подъем тяжестей, бремя, которое вынесет только сильный, и то лишь до известного предела.

Можно подумать, будто живущий надеждой уклоняется от настоящего и сберегает душевные силы для будущего. Но сберегает ли? Нет. Надежда пожирает силы, не бережет их.

Надеяться сверх всякого вероятия — не то же самое, что бездеятельно ждать. Надеющийся против очевидности нещадно сжигает душевные силы. Он верит в перелом, разрыв причинной связи, в такое «завтра», которое не будет укоренено во «вчера», а оно может никогда не настать. Или настать тогда, когда всякие душевные силы закончатся. Тогда — надрыв сил и отчаяние...

Впрочем, веселую бодрость, о которой мы говорим, нельзя назвать в чистом виде христианской чертой. Она свойственна христианам определенного места и времени: скорее на Западе, чем на Востоке, и больше у одних народов, чем у других. На Востоке та же самая философия надежды породила безграничное терпение... «Деятельное смирение» — явление скорее западное, и проследить его можно вплоть до Эллады:

«Что же еще остается? Ничего другого, как быть самим собой: обладать особым мужеством и противостоянием судьбе, что по-гречески называется *τολμᾶν*. Остается выдержка и твердое владение собой; стойкость, способная приободрить павший дух; большое терпение, укрепляющее слабого и возвращающее свободу узнику». ¹⁰

Деятельное смирение отличается полной верой в собственные силы, при всей их ограниченности в сравнении с силами судьбы; спокойным и уверенным распоряжением этими силами в кругу нам данных забот — личном космосе,

¹⁰ Герман Френкель.

в котором человек сам себе творец и устроитель.

Маленький Принц, который каждое утро приводил в порядок свою планету, поливал розу, чистил вулканы — идеальный пример деятельного смирения. Для философии «терпения» его поведение бессмысленно: жизнь враждебна человеку и однажды кончится; ее надо мужественно претерпеть; улучшать ее — напрасный труд; на земле нужны храм да могила... При этом в основе обоих мировоззрений лежит надежда; только в одном случае она побуждает к деятельности, а во втором — к уклонению от нее.

«Деятельное смирение» отличается от «терпения» и по своим плодам. Терпение сменяется бунтом и потерей всякой нравственной выправки... Деятельное смирение заставляет человека заниматься делами мира более-менее постоянно. Личность «деятельно-смирренная» большего ожидает от мира; надеется на то, что что-то изменится хоть немного, но прямо сейчас, под влиянием наших усилий; ее упования не отложены так далеко, как у личности «терпеливой».

Деятельное смирение не переоценивает будущего, не перемещает внутренний центр тяжести вдаль, но вполне ценит настоящее. Будущее светит и на его небосводе, но деятельно-смирненный не пытается греться в его лучах. Его поприще здесь.

XI

V

. Смысл прежде пользы

Для животных в мире есть только три рода вещей: опасные, манящие и безразличные. Человек, в отличие от животных, находит в вещах внутренний смысл, сравнивает их ценность и (иногда) объявляет некоторые из них постыдными или запретными.

В мироощущении ушедшей эпохи важнейшее место было отведено греху и стыду. Личная нравственность в Старом мире определялась в первую очередь через соблюдение запретов. Верность государству, честное служение — были в ней второстепенные, языческие составляющие; прививка Рима, без которой христианская Европа не могла обойтись.

Ход событий упразднил религиозную нравственность (в одних странах насильственно, в других — путем постепенных послаблений). Служение государству — не только осталось, но и возросло в цене. Но одной верности государству недостаточно. Личности нужно нечто, могущее руководить повседневной жизнью; если не широкое и всеохватное мировоззрение, то хотя бы его замена; нечто, дающее чувство осмысленности и оправданности поступков, говоря христианским языком — личной праведности.

В разные времена человек обращался за таким руковод-

ством к разным силам. Чаще — к религии, реже — к философии. В наши дни он ищет поддержку у сильного, самоуверенного, но едва ли долговечного учения о бессмысленном мире, богатства и силы которого человек (странное исключение, пузырек сознания в потоке, лишенном разума, истока и цели) должен отбирать и использовать рациональным образом...

Но вернемся к предмету нашего разговора. Когда слабеет религия, первым побуждением разума становится: удержать в порядке рассыпающийся образ мира.

Разуму естественно видеть мир разумно устроенным, причем цельным, то есть разумным снизу доверху, вплоть до человека и его души: не только на уровне пляски невидимых сил, которыми занимается наука. Здесь непроницаемая граница между наукой, с одной стороны, и философией — с другой: наука изучает мир без человека, для философии человек есть необходимая часть мирового порядка.

Мысль о мироздании без богов или с такими богами, которым безразлично течение земных дел, не дает человеку опоры. Философия становится ответом на вызов: вызов бессмыслия и ненужности всех вещей. Мыслитель не мечтатель; он ищет, а вернее сказать — создает твердую опору уму посреди вызывающе (по видимости) неупорядоченных, ничем не оправданных событий. Философия умирает, если ум соглашается принять бессмысленный мир.

Однако для развития философии нужна почва. Способ-

ность ценить мудрость выше пользы, готовность к незаинтересованному мышлению, умственной роскоши — дается временам и народам неравномерно. Да и одной мудрости, одного искусства мысли для философии недостаточно: нужно еще встречное внимание, готовность слушать, иначе философия останется личной причудой, смешным увлечением ненужного человека...

После заката Старого мира эта почва исчезла. У «освобожденных» масс не было ни умения, ни желания философствовать; а еще менее — у их вождей. Однако от жизни на обочине прежнего культурного мира эти вожди сохранили некоторый запас идей, «правильных представлений» об истории, обществе, человеке... Питаясь этим запасом, выросла «идеология» нового мира.

Идеологию можно было бы назвать «учением о правильных мыслях». На первый взгляд, ее задание почти такое же, как у философии. Идеология придает смысл если не миру, то жизни общества. Но там, где философия идет по пути преодоления трудностей, поднимает тяжести, строит здание — идеология предпочитает не видеть того, что ей не нравится, строит карточный домик и надеется на то, что не будет сильного ветра.

Если философ приходит к выводам, которые определяют его жизнь, то идеолог определяет только мнения, и то — высказываемые вслух. Идеология есть нечто внешнее и принудительное по отношению к личности; не вырастает из

ее внутренних потребностей, но навязывается сторонней силой. Ее «идеи» не переходят одна в другую путем внутреннего развития, но цельно, во всей полноте принимаются на веру или отбрасываются.

Идеолог говорит о «правильном», т. е. должном понимании вещей, философ — о «ясном и логически-непротиворечивом, и притом осмысленном» (т. е. не допускающем сомнения в осмысленности мира). Идеология — личная праведность, примененная к мнениям: «думай так, и будешь долговечен на земле». Логическая ценность мировоззрения ее не занимает.

И в то же время идеология напоминает христианскую мораль. Она так же ставит человека в невыносимые отношения с самим собой. Требования идеологии, как и требования христианства, не могут не быть нарушены. Мысли, дела и ощущения делятся на правильные, для других — и настоящие, для себя. «Идеология» во всех видах предполагает двоемыслие.

Сходство «идеологии» с христианской моралью неслучайно. Она решает те же задачи, давая личности, в награду за «правильное» поведение, чувство собственной ценности. Отличие в том, что идеология, понимаемая как система нравственности, переопределяет «грех» (запретное) через внешнее, а не внутреннее. На место вреда, причиняемого душе, ставится вред, причиняемый обществу. Постыдно — не «думать одно и говорить другое», а «сказать то, что дума-

ют все». Благо общества (понимаемое как его безмятежный сон) становится последней ценностью. Личная праведность достигается через служение внешним и только внешним целям. По счастью, в России эта светская мораль не просуществовала долго, но успела опустошить умы двух-трех поколений и привести к полной нравственной потерянности их потомков...

После длительного господства идеологии — мы оказались на пустой земле. Что же нам делать?

Возвращение к религиозной морали, основанной на подавлении желаний, выглядит не просто маловероятным — неплодотворным. Старый мир был и высокоразвит, и богат, но потому, что принимал мораль запретов лишь до известного предела (то есть не был вполне христианским, на что без конца обращали внимание строгие проповедники). Плотина, поставленная человеческому желанию жить в мире и радоваться солнцу, уже прорвана, и если и будет восстановлена, то под знаком другой религии. Думаю, мы больше не имеем права отступать из мира — в душу, оставляя мир в забросе, как это было когда-то сделано, но и забросить душу ради мира не можем. Нынешнее же ученое безмыслие (уроки пользования бессмысленным миром) никого на долгие сроки удовлетворить не сумеет.

Что же касается мудрости, наполняющей мир смыслом даже тогда, когда голоса старых богов не слышны... Жить в осмысленном мире, строго говоря, труднее. Осмысленность

вещей — бремя, слабый ум его охотно сбрасывает. Полезно же то, что делает жизнь проще. Почему, кстати, бесполезна культура — набор усложняющих жизнь правил, образцов поведения, чувства и мысли. И почему мы должны, не опуская рук, держаться за культуру и память о ее достижениях — сколько бы ни твердили нам о «пользе» и «прогрессе».

Чтобы не повторять постоянно смутное слово «культура», проще сказать: «духовный труд». (И пусть не обманывает нас сходство с христианским словоупотреблением.) Речь о труде ума и чувства, направленном на усложнение, углубление личности и способов ее выражения. Ведь общество (как бы ни хотелось некоторым поверить в обратное) есть, кроме прочего, воспитательное учреждение. Никакого «естественного состояния» человека нет, если не считать состояния дикости. Всякий высший человеческий тип выпестован обществом, его представлениями о культуре, то есть (в последнем итоге) о воспитании.

В том и важность вопроса. Отношение души к миру, смыслы, которые она вкладывает в дела и вещи — всё это касается не праздных отвлеченностей, но самого главного: воспитания человека. Что бы мы ни выбрали: праведность через соблюдение запретов; «пользование» бессмысленным миром; «правильные названия вещей» при безразличии к внутренней жизни души; философскую веру в осмысленность миропорядка — выбранные смыслы определяют душевное состояние человека в новом мире, который уже строится

и когда-то будет построен.

V

. Вкус к сложности

Мы живем во времена последовательного опрощения и упрощения. Опрощается человек, упрощается мировоззрение. Отблески «старого мира» гаснут или почти уже погасли. Однако и в сумерках продолжается борьба начал, которые когда-то, при других обстоятельствах, вели личность не вниз, а вверх: к плодотворной сложности. Физика человеческой души, если можно так сказать, не меняется. Меняется только состав среды, к которой приложены ее законы.

Простоту многие считают естественным и желанным состоянием. Однако сложность не менее естественна, чем простота, и даже более желанна для ума. «Побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие», говорит Пушкин. Предпочтение простоты — знак сытости или бедности, двух состояний, препятствующих росту.

Или так скажем: воля к сложности, к обладанию отличиями — противостоит детскому или еще звериному желанию быть вместе со всеми. Каждый раз, когда человек остается один, останавливается и задумывается, он идет против природы. Высшей точки эта противоположность достигает в культуре, а религиозно — в христианстве. Кто совершит над собой наибольшее насилие, — говорит христианство, — тот

назовется великим.

Разберем эту христианскую черту. Она многое определила в нашем прошлом, и нам придется помнить о ней в будущем, когда христианства с нами уже не будет.

Христианство — внеприродно и сверхприродно. Отсюда любовь его к чудесам. В поправлении естественного — его удовольствие. В христианстве стрела духа прошла природу насквозь. Мир и человек для христианина — нечто такое, что можно гнуть и ломать по своему усмотрению. Вся современная философия «покорения природы» проникнута этим духом.

Насилие над природой, в первую очередь человеческой, а затем и природой мира, та «насильственность» европейской цивилизации, о которой говорил Данилевский — христианская черта. Современное состояние Запада, которое можно назвать всемогуществом на грани самоуничтожения — закономерное следствие тысячелетнего «преодоления природы». Божество уходящей эпохи — божество городов, техники, насилия над всем природным. Неслучайно в городах оно утвердилось прежде, чем за их пределами.

Осуждая христианство как внеприродную и против природы идущую силу, некоторые ищут укрытия в поклонении «Природе», даже дают этому поклонению название «язычества». Однако язычество не состоит в «поклонении природе». Боги и судьба — не то же, что слепая и глухая «природа». Чтобы ей поклониться, надо быть современным (то есть

отученным о всякой мысли о живых и сознательных деятелях по ту сторону видимого мира) человеком. Однако верно, что разница между язычником и христианином познаётся по отношению к природе.

Христианство, однако же, боролось с человеческой природой не ради угашения силы, блеска и полноты жизни как таковых, но в полном соответствии с формулой Ницше: «человек есть нечто такое, что должно быть преодолено». Оно следовало той «физике человеческой души», о которой мы говорили в начале.

Ум опознаёт свое место в мире через противопоставления: верх и низ, желательное и нежелательное, трудное и простое. Независимо от выбора ценностей (таков общий закон) — трудное совпадает с желательным, достойным, чтобы не говорить «добрым» (смутное слово с оттенком мягкотелости, если не бессилия). Скажи мне, что запрещает твоя мораль, и я скажу тебе, чего она требует.

А мораль (всякая мораль) запрещает идти простейшими, наиболее доступными путями, что проявляется в самой несложной из известных систем нравственности — в правилах любой игры. Наиболее плодотворное поведение в любой области достигается через следование требованиям и запретам, помимо всяких моральных оценок. Образцом поведения всегда считается трудное для личности, требующее усилий, далекое от «естественного».

Причем проявляется это повсеместно, начиная от детских

игр и продолжая, скажем, русской литературой, которая процветала при плодотворно-сложной традиционной орфографии и пришла в ничтожество при орфографии упрощенной, «доступной слабым». ¹¹ (Обмеление литературной речи было, разумеется, опосредованно — через понижение общекультурного уровня — связано с переменами в орфографии.)

В наши дни мысль о «подавлении» одних ценностей ради других, об упорядоченной их лестнице — выглядит неуместной. Прославляется, напротив, «многообразие». Но сложность внутренней жизни — совершенно не то же, что это «многообразие», понимаемое исключительно количественно, как стремление к наибольшему числу оттенков на единицу площади. Настоящая сложность пространственна, упорядочена в высоту, основана на подавлении одних ценностей и возвышении других. Здесь ключевые слова: подавление и возвышение. Многообразие однокачественных, но разноцветных песчинок — не то же, что многообразие частей здания.

Либеральная мечта о культуре без подавления одних

¹¹ Заметим: нет «малограмотности» самой по себе, есть желание пользоваться языком, не понимая его смысла. Орфография не может идти навстречу этому желанию. Полупросвещение (или «высшее образование», понятое по-советски), создает личность, которая языком пользуется, но его не понимает. Внутренние связи смыслов, значение слов — всё это ей недоступно или малодоступно. Неслучаен длящийся до наших дней восторг перед революционной ломкой правописания, устранившей из письменной речи тонкие оттенки смысла.

устремлений другими так же беспочвенна, как мечта о мире, в котором действие не вызывает противодействия. Может быть, такое и возможно, но при других физических условиях. Сейчас нам предлагают «розовую», сахарную физику общественных и душевных движений. Однако первый закон настоящей общественной и душевной физики следующий: нельзя утверждать, не отрицая; нельзя поощрять, не запрещая; всякое утверждение является отрицанием, а поощрение — запретом. Всякая мысль — не висит в пустоте, но занимает место, отнятое в борьбе у других мыслей, которые ей удалось потеснить.

Либеральная мысль хочет быть мыслью антихристианской и провозглашает нечто, на вид, на слух вполне «противохристианское». Однако по тому, как она себя проявляет, — это мечта о культуре, «доступной слабым», об устранении состязания и (самое главное!) всякого роста через усилие, ибо самая мысль об усилении оскорбляет слабых, как мысль о богатстве — бедных, следовательно, сами понятия усилия и богатства из общепринятой системы ценностей следует изъять.

Этот идеал «общества для бедных и слабосильных» — уменьшенный слепок с христианского идеала, с присущим тому отвращением к силе, полноте и яркости бытия. Однако Церковь преследовала «страсти», а либерализм выдавливает из мира всякую силу, будь то «страсть», сила ума или крепость духа. Он только выглядит противохристианской реакцией, по существу же это выхолощенное, бессильное про-

должение христианской идеи. Церковь возростала насилием сильных над своей природой, а здесь — вялое потворство не страстям даже, а страстишкам.

Уход христианства с его плодотворным (хотя и опасным) насилием над душой, разлитие либерализма с его неспособностью питать высшее — повод задуматься над путями воспитания высшего человека.

Это всегда выработка личности, способной к мышлению, решениям и поступкам в одиночестве. Внутренняя сложность равносильна уединенности. Саморазвитие ведет вовнутрь. В уединении происходит все самое важное для ума и духа, но среди людей и с людьми — все необходимое для чувства.

Отделить один поток от другого, внешнее от внутреннего, значило бы обеднить жизнь, как это и делалось когда-то. Предел «мироотречного» настроения — мир, оставленный в забросе, ненужный, только терпимый. Не следует и невозможно второй раз ступить на этот путь. «Старого мира» больше не будет. Но задача выработки личности стоит перед нами, как стояла перед деятелями прошедшей эпохи.

Спросим себя: что такое личность: данность или достижение? По видимому, ни то, ни другое. Личность подобна зданию, которое само себя строит. Всё, что может ей дать внешний мир — это твердая почва и воля к самостроительству, вкус к сложности, не побоюсь сказать — вкус к игре. Ведь человек не просто «работник». Революция рыла себе яму, ко-

гда вместо всех высших способностей и вопросов предлагала личности «ударный труд». Мало «служить». Всякому нужно изощрять свои способности; кроме «пользы» искать красоты; вносить в жизнь игру: искусственные правила, которые не имеют ценности для достижения простейших целей, но делают жизнь богатой и теплой.

Плодотворная искусственность жизни — первый шаг к собственно искусству. В мире должно быть место не только для «дел», но и для обрамляющей их игры. Для писарского росчерка на бумаге; для красоты венчающего строку ятя. Купец, московский особняк которого украшает перевернутая рюмка, умел не только «делать дела». Так и Матвей Казаков закручивал спиралью, пока не видит почтенный заказчик, дымовую трубу Петровского дворца...

Вопросы о личности и ее занятиях — не отвлеченные разговоры, как может показаться, а самые злободневные, связанные с одним главным вопросом, а именно: как и для чего жить?

Если мы принимаем, что жить нужно так, чтобы испытать все высшие способности своей природы без прямого и намеренного ущерба другим живущим, — желание образовать высшего, сложного человека не кажется блажью. Даже с стороны житейского удобства личность, которой не бывает скучно наедине с собой, тверже, безопаснее стоит в этом мире, чем та, которую нужно постоянно развлекать.

Когда-то Романовы прививали нам вкус к культуре на со-

блазнительном и блестящем примере Европы. Сложность тогдашнего высокоразвитого, на последнем своем подъеме стоящего европейского мира была великой удачей для Петра и наследников. В Европе манили не сытость или спокойствие, как теперь, а многообразие ощущений ума и чувства — мало важное для современного русского обшество.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.